Михаил Волконский

Воля судьбы

Михаил Волконский

Воля судьбы

«Public Domain»

1914

Волконский М. Н.

Воля судьбы / М. Н. Волконский — «Public Domain», 1914

«Несмотря на то, что старый князь Андрей Николаевич Проскуров, Рюрикович по происхождению, был богат, знатен, и если не более, то во всяком случае не менее своих сверстников обладал способностями к службе, – он, достигнув солидного возраста, не сделал карьеры. Ему просто не было счастья. Только что начинала улыбаться ему судьба, как являлось непредвиденное обстоятельство, разрушавшее все планы и надолго уносившее надежду на достижение желанной цели…»

© Волконский М. Н., 1914
© Public Domain, 1914

Содержание

Часть первая 5
I. Князь Андрей Николаевич 5
II. Найденыш 7
III. Перелом 9
IV. Новая жизнь 10
V. Жених 12
VI. Дипломатический разговор 15
VII. Рискованная ставка 18
VIII. Встреча 21
IX. Что она скажет? 24
X. Соловьиная песнь 27
XI. Отец 31
XII. Синьор Торичиоли 34
XIII. «Каждому свое» 38
XIV. Новый гость 41
XV. Доктор Шенинг 43
XVI. Мнимобольной 45
XVII. Две девушки 48
Конец ознакомительного фрагмента. 50

Михаил Волконский
Воля судьбы

Часть первая

I. Князь Андрей Николаевич

Несмотря на то, что старый князь Андрей Николаевич Проскуров, Рюрикович по происхождению, был богат, знатен, и если не более, то во всяком случае не менее своих сверстников обладал способностями к службе, – он, достигнув солидного возраста, не сделал карьеры. Ему просто не было счастья. Только что начинала улыбаться ему судьба, как являлось непредвиденное обстоятельство, разрушавшее все планы и надолго уносившее надежду на достижение желанной цели.

И это было тем обиднее, что сначала Проскурову повезло. Двадцати семи лет князь Андрей Николаевич, покровительствуемый Меншиковым, только что достигшим апогея своего величия с воцарением государыни Екатерины I, получил чин бригадира. Все улыбалось ему, он почти был уверен, что счастье, в лице всесильного Меншикова, навеки не изменит ему, лишь бы суметь угодить временщику, и приложил к тому все старания.

Но императрица Екатерина вскоре скончалась, а затем и Меншиков пал и был отправлен в ссылку. Проскуров не был замешан в его дело, но как лицо, которому все-таки покровительствовал опальный, должен был уехать к себе в деревню. Ему намекнули об этом; и он, из боязни навлечь на себя еще более тяжкие беды, не заставил повторять себе намек.

Наконец после долгих усилий, просьб и искательств Проскурову удалось вернуться в Петербург, но уже сорокалетним бригадиром. Этот чин, завидный в двадцать семь лет, теперь казался как будто не совсем почетным, когда сверстники князя давно были уже генералами, а иные даже заседали в кабинете.

После тринадцати лет деревенской жизни Проскуров попал в Петербург в самый разгар борьбы Волынского с Бироном. Устроившись в столице, он старался осмотреться и решить, откуда ждать ему столь желаемых благ. Бирон был временщиком. Проскуров, видевший силу Меншикова, который, несмотря на эту силу, все-таки не мог устоять против происков врагов, теперь, видя всеобщую, хотя скрытую, нелюбовь к Бирону, решил, что и этому временщику не миновать гибели, и примкнул к Волынскому. Князь рассчитал верно. Однако не совсем: Бирону суждено было пасть, но только не Волынскому предстояло победить его; Волынский сам пал, казненный на площади. Проскуров не ждал на этот раз даже намека и сам поспешил уехать поскорее в деревню.

Скончалась императрица Анна Иоанновна, а через три месяца после этого правительницей Анной Леопольдовной был сослан Бирон. Проскуров снова ожил, снова, полный надежд, вернулся в Петербург, нашел дорогу к сильным людям, но едва приготовился встретить радостью как будто к нему на этот раз обращенную улыбку счастья, как новый удар, новое разочарование: ноябрьскою темною ночью цесаревна Елизавета Петровна явилась в казармы Преображенского полка, с тремястами солдат арестовала правительницу и была провозглашена самодержавной императрицей. Сильные люди, на которых надеялся и в которых верил Проскуров, а именно Миних, Остерман, Головин, были сосланы в далекие города, а сам Проскуров отправлен «вечным» бригадиром вновь в свое имение. «И все за то только, что в жилу не умел попасть», – как говорил он.

С тех пор, то есть с воцарения Елизаветы Петровны, князь Андрей Николаевич жил уже безвыездно в деревне.

Однако, поселившись там, он все еще в глубине души надеялся, что настанет наконец и его время, и ждал этого времени, не замечая, что годы проходят, а сам он стареет. Это начало старости становилось в нем в особенности заметным по увеличивающейся с каждым годом ворчливости и раздражительности.

Свою барскую усадьбу Проскуров устроил в виде замка, окружив ее частоколом, валами и бойницами: он открыто принимал у себя только таких людей, которые бранили современные порядки, и не пускал к себе лиц начальствующих; и благодаря его богатству это сходило ему, а главное – и ездили-то к нему, в сущности, люди самые смирные, только прикидывавшиеся пред ним недовольными, чтобы иметь к нему доступ, потому что всегда находили у него хороший завтрак и отборные вина. Князь Андрей Николаевич только и бывал в духе, когда, сидя за столом и кивая дворецкому, чтобы тот подливал вина, слушал разговоры о том, какие тяжелые времена, мол, переживаются теперь. Тогда он хмурил свои нависшие на глаза брови и одобрительно потряхивал чубуком.

Несмотря на безвыездную жизнь в деревне Проскуров все-таки внимательно следил за всем, что делалось в столице, в особенности за наградами и повышениями, и, встретив в «Петербургских ведомостях», в списке награжденных, знакомую фамилию, выходил обыкновенно из себя, комкал газету, кидал ее и становился несносен для окружающих. Правда, иногда он сам старался совладать с собой и тогда запирался в своем кабинете.

Но ничто не бесило Андрея Николаевича так, как возвышение Разумовского. Это он уже никому простить не мог и даже в провинции не терпел ненавистного имени. Одного из гостей он чуть не затравил собаками за то, что тот заговорил при нем о Разумовском, хотя и неодобрительно. Андрей Николаевич не хотел примириться с мыслью, что простой певчий стал вдруг вельможей, когда он, князь Проскуров, придворный Рюрикович, сидит где-то у себя в деревне с чином бригадира. Он всей душою ненавидел этот свой чин и тоже комкал и бросал письма, не читая их, если на адресе к титулу было прибавлено «и бригадиру». Впрочем, он говорил всем, что на чины не смотрит и что незачем ему иметь их, когда у него есть неотъемлемый княжеский титул, прирожденный, который пожаловать нельзя. И этому прирожденному титулу он придавал такое значение, что у него в усадьбе, в штабе служащих, жил ученый итальянец, специально приглашенный для составления родословной князей Проскуровых.

II. Найденыш

К 1789 году князь Андрей Николаевич женился в Петербурге по любви и, пока все хорошо шло у него тогда относительно службы, был ласков с женою и, казалось, души в ней не чаял. Он ждал, что первым ребенком у него будет непременно сын, продолжатель рода Проскуровых, и так, казалось, уверен был в этом, что только и говорил о том, как он назовет сына, как будет растить и воспитывать его. И вдруг родилась дочь. Князь заперся на неделю к себе в комнату, не пожелал видеть ребенка, не пошел к жене и отменил приготовленное заранее угощение для дворовых. На крестинах он тоже присутствовал лишь официально и никакого пира не устроил. Девочку назвали Ольгой.

С рождением дочери Андрей Николаевич вдруг охладел к жене. Вскоре тут пошли служебные неприятности. Положение Волынского, у которого «искал» Проскуров, казалось поколебленным. Князя грызло предчувствие, что он опять дал промах, и настроение его духа становилось все хуже и хуже. Конечно, страдали от этого главным образом домашние князя.

Княгиня была женщина болезненная, худенькая. Она едва перенесла первые роды, и доктора сказали, что вряд ли у нее еще будут дети. Это окончательно сразило Проскурова. Он долго не мог примириться с мыслью, что должен навсегда расстаться с мечтою о сыне.

Отношения его к жене совершенно испортились. Дом их разделился на две половины, и князь из своих комнат иногда по целым неделям не хаживал на половину княгини.

Однажды, рано утром (князь Андрей Николаевич только что встал с постели), в парадных больших сенях раздался крик младенца. Это был настойчивый, заявлявший свои права на жизнь крик маленького существа, видимо, оставленного на милосердие добрых людей. Проскуров, сидевший в это время за сбитнем, поднял голову, прислушался, сейчас же понял в чем дело и велел принести к себе ребенка. Было ли в этот день особенно весело на душе Андрея Николаевича, потому что он получил накануне добрые вести о ходе борьбы Волынского с врагом его, или подкинутому ребенку было суждено найти кров в доме Проскурова, но когда князь нагнулся над корзиной, где лежало дитя, то улыбнулся и проговорил:

– У-у, славный какой, да еще мальчик!

Подкинутому мальчику было не больше нескольких дней, но он, словно поняв, что его судьба зависит от настоящей минуты, перестал кричать и растянул свой беззубый ротик, широко раскрыв удивленные черные большие глаза. Князь Андрей Николаевич окончательно рассмеялся и решил оставить мальчика у себя.

Словно в пику жене, он устроил торжественные крестины найденышу, дал ему, в честь Волынского, имя Артемия и сам занимался всеми мелочами необходимой для ребенка обстановки. Он велел пол в детской затянуть верблюжьим войлоком, люльку обить шелком, сделать несколько шелковых же покрывал и привезти из вотчины кормилицу, здоровую и красивую.

Кормилицу привезли действительно здоровую и красивую, пол затянули, люльку обили, покрывала дорогие сделали, но не сделали многого самого необходимого, о чем князь не умел распорядиться – даже свивальников не хватало. Однако Проскуров остался доволен. Княгиня, занятая на своей половине дочерью, не интересовалась найденышем, но князь иногда призывал ее и хвастал пред нею мальчиком.

Пока они жили в Петербурге, можно было еще надеяться, что особенное благоволение князя к найденышу явится для него только мимолетным занятием, развлечением и пройдет впоследствии, как одна из барских затей или прихотей. Но вскоре дело оказалось гораздо более серьезным. Как раз в это время случилось падение Волынского, и Проскуровы, торопливо собравшись, уехали в деревню.

Здесь, в деревне, очутившись без занятия, озлобленный неудачею, князь Андрей Николаевич единственно с кем был ласков – с маленьким Артемием. Он как будто радовался, что

этим делает больно жене. Он, видевший для себя в жизни одни только неприятности, казалось, готов был теперь платить всему миру тем же, а так как до «всего мира» ему не достать было, а возле него находилось одно только существо, способное понять и воспринять горечь обиды, а именно жена, то он на ней и вымещал, должно быть, всю свою злобу к человечеству.

Одним из главных орудий такой мести был подкинутый ребенок, и князь с редким терпением нянчился, возился с ним, подчеркивал свою нелюбовь к родной дочери и преувеличивал нарочно привязанность к Артемию.

Княгиня принадлежала к числу тех странных женских натур, которые по непонятной, особенной логике, или, вернее, отбросив всякую логику, с необъяснимой, тихою преданностью любят именно мужей-мучителей, безропотно покоряются им, боятся их, но любят безответною, самоотверженною любовью.

Самые тяжелые годы начинались для княгини, когда она должна была с мужем поселиться надолго в деревне после воцарения императрицы Елисаветы.

Проскуров попал тогда в прямую опалу, конец которой трудно было предвидеть. В иные дни, в особенности когда из столицы приходили вести о наградах сверстников князя, Андрей Николаевич доводил свою жестокость с женою до такого нравственного варварства, что крепостные люди даже жалели ее. Княгиня молча терпела и плакала втихомолку. Проскуров не мог видеть слезы и при виде их приходил в окончательное бешенство.

Между тем время шло, дети росли. Андрей Николаевич выписал учителей и целый ворох книг для Артемия и сам наблюдал за его воспитанием. Он лично преподавал ему математику. Эти уроки послужили первым разъединением князя с его любимцем. Сначала все шло хорошо, но вскоре учитель стал выказывать нетерпение, а ученик с каждым днем – увеличивающуюся робость пред ним, вследствие которой во время объяснения урока смотрел на него лишь испуганными глазами и ничего не понимал.

Однако Артемий оказался способным и толковым. Остальные учителя были довольны им, и сам князь, когда бывал в духе и не запугивал мальчика, мог только хвалить его.

Несмотря на появившиеся теперь вспышки гнева по отношению к Артемию за неудачные уроки, князь не переставал утрировать свое расположение к нему, то нарочно говоря при жене, что вот, мол, он не может найти в своей родной семье утешение, а должен искать его в чужом, найденыше, то обещая после своей смерти, которой, вероятно, ждут не дождутся, оставить все этому найденышу, а княжну Ольгу лишить наследства.

Несмотря на то, что Андрей Николаевич старался всяческим образом унизить дочь пред Артемием, видя, что это действует на мать, он всегда называл ее «княжною Ольгою», а Артемия «найденышем».

Княгиня невыразимо страдала и от непрерывных уколов мужа, и от того, что не могла или, как она думала, не умела угодить ему, не спала ночи, хворала постоянно.

Андрей Николаевич так привык к болезненному состоянию жены, что, кажется, думал, что иначе она и жить не может и что все это – пустяки, ничего опасного нет, а есть только одно преувеличение и мнительность. Однако княгиня не только не преувеличивала своего недуга, но, напротив, скрывала его и иногда, чтобы сделать приятное мужу, через силу выходила к нему, к гостям, и должна была улыбаться и пить во время тостов вино, которое терпеть не могла. Она не могла переносить постную пищу, но несмотря на это когда князю иногда приходила фантазия соблюдать вдруг самый строгий пост, принуждала себя есть неприятные для нее блюда. Стоило ей выказать страх пред лошадью – на другой же день ее сажали чуть ли не насильно верхом и не спускали с седла до тех пор, пока она не падала изнеможенная. И много было подобных приемов, изводивших по капле терпение, энергию и здоровье бедной женщины. Проскуров каждый день ухитрялся найти что-нибудь новое.

Княгиня выдержала одиннадцать лет своей замужней страдальческой жизни, но на двенадцатом слегла наконец, измученная, больная, и эта болезнь была последним ее страданием.

III. Перелом

Только тогда опомнился князь Андрей Николаевич, когда было уже поздно и дело оказалось непоправимым. Княгиня лежала при смерти. Чем дольше она перемогала свою болезнь, чем упорнее боролась с нею и скрывала ее, тем сильнее эта болезнь подступила теперь своим последним натиском и вдруг сломила так долго крепившиеся силы измученной женщины.

В большой, затянутой штофом спальне проскуровского дома, на широкой кровати с шелковым балдахином лежала неподвижная, без кровинки в лице, княгиня.

Со вчерашнего дня, после того как ее отсоборовали и причастили, она не сказала ни слова и, как легла на спину, так и оставалась, не меняя положения всю ночь. Никто не знал, в памяти она или нет, страдает ли или уже ощущения у нее притупились, сознает ли наконец, окружающее, или светлое забытье, предшествующее той величественной тайне, которую люди назвали смертью, охватило ее существо, готовое встретить свой мирный, тихий, непостыдный христианский конец, потому что иного конца и быть не могло у несчастной княгини, искупившей всей своей жизнью предсмертные свои муки. Она лежала без движения, и только по чуть заметному колебанию ее гофрированной белой кофточки да по редкому движению неплотно опущенных век можно еще было судить, что угасающая жизнь теплится в ней.

Князь, не раздевавшийся и не ложившийся уже три ночи, стоял у постели, боясь, что вдруг не увидит медленного движения и дыхания жены, к которому он жадно столько раз в эти дни прислушивался. И именно потому, что он боялся не найти этого дыхания, ему показалось, что его уже нет, и что последнее движение жизни оставило больную. Он в ужасе, – не крикнув только потому, что судорога свела ему горло, – протянул руки к жене и двинулся вперед.

Княгиня вдруг подняла веки. Ее большие черные глаза открылись и неподвижно уставились на князя, стоявшего тут, против, возле.

«Сознает ли она, видит ли, понимает, простила она или нет?» – тревожно и сразу все одновременно пронеслось в мыслях у князя.

И годами, десятками лет, целою жизнью показались ему те секунды, пока смотрели на него черные осмысленные, без слов говорящие глаза умирающей. Да, они были осмысленны и говорили без слов, что она сознает все, видит, понимает и прощает ему.

Наконец губы княгини шевельнулись и резким, внятным, особенным шепотом она произнесла:

– Девочку… Олю…

Оле шел уже одиннадцатый год. От нее не скрыли болезни матери, но пока думали, что больная вне сознания, ее увели, стараясь как можно сократить тяжелое впечатление. Оля могла уже понимать.

Кто пошел за Олей, когда ее позвала мать, и скоро ли привели ее, Андрей Николаевич не сознавал; он помнил только (и на всю жизнь запечатлелось в нем это воспоминание), как девочка, серьезная, словно взрослая, без слов, со страшно изменившимся, осунувшимся, но красотою похожим на мать личиком, остановилась у высокой постели и упала на колена.

Мать сделала слабое движение рукою, но последняя не слушалась и бессильно упала опять. Князь положил ее на голову Оли и заглянул в глаза жены, как бы желая узнать, то ли он сделал, что нужно. Взгляд черных глаз ответил ему благодарностью.

Потом больная долго собиралась с силами, и наконец ее губы снова шевельнулись, и чуть внятный шепот сказал:

– Лю… би… ее…

Князь не выдержал, закрыл лицо руками, напрасно силясь подавить сухие рыдания без слез.

IV. Новая жизнь

С тех пор, то есть со дня смерти княгини, прошло восемь лет.

Оля из ребенка стала взрослою девушкой. Обращение с нею отца после смерти княгини резко изменилось. Схоронив жену, князь, в особенности первое время, был очень ласков и мягок со всеми окружающими. Он проводил теперь почти целые дни в комнатах дочери и занимался лишь одною ею. Недавний любимец его Артемий был переведен во флигель, но учителя сначала остались у него. Вскоре, однако, они разъехались, найдя, что условия их жизни в княжеском доме теперь стали невыгодны. Новыми их не заменили. Таким образом Артемий, ровесник Ольги, рано оказался предоставленным самому себе.

Жизнь мальчика, лишенного товарищей, была одинока, и это одиночество спасло его. Если он не имел из-за этого одиночества многих радостей детства, то не имел также дурного примера. Скука и однообразие проводимых безвыездно в усадьбе князя дней пристрастили Артемия к чтению. Он рано научился забираться в библиотеку большого дома и там, забытый иногда всеми, просиживал часами, не отрываясь от книги. Он читал все, что попадалось ему под руку, и детское воображение, работая в нем и дополняя прочитанное, создавало чудные картины под влиянием описываемых в романах событий или приключений, рассказанных путешественниками.

Среди книг часто попадались и более серьезные, научные. Артемий прочитывал и их. Таким образом, когда он вошел в юношеский возраст, то оказался не только не лишенным образования, но мог считаться вполне человеком, знающим многое.

Пришлось ему случайно выказать раза два свои познания пред князем, и Андрей Николаевич снова приблизил к себе прежнего своего любимца, стал поручать ему кое-какие дела, а потом мало-помалу Артемий сделался у него чем-то вроде домашнего секретаря.

Князь свято исполнял завет умирающей жены – любить дочь, но из-за его несчастного, испорченного житейскими неудачами характера эта любовь являлась иногда тяжелою, деспотическою. Он решительно не мог наладить свои отношения к дочери так, чтобы между ним и ею существовали та ясность и простота дружбы и то доверие, которые служат истинным признаком истинной любви. Оля боялась отца более, чем любила. Андрей Николаевич видел это, выходил из себя, но делал усилия побороть бушевавшую в нем желчь; иногда это ему не удавалось, и он разражался вспышкою гнева, а это еще более запугивало молодую девушку. Правда, в таких случаях князь почти всегда умел совладеть с собою и приходил сейчас же к дочери с ласкою, но и ласкать не умел он.

Тяжелою была жизнь и для самого Проскурова, и для окружающих его.

Чем более уходило времени со дня смерти княгини, тем слабее, разумеется, становилось, впечатление ее конца и тем тяжелее делался нрав Андрея Николаевича.

Но в последнее время у него явились новый предлог для беспокойства и новая причина для гнева. Оля вошла в тот возраст, когда девушка может стать невестою. Это сразу почувствовалось в воздухе. Старухи дворовые, вздыхая и охая, шепотом заговорили по своим светелкам о том, что пора-де приискать жениха красавице-княжне. Соседи спрашивали друг у друга: «За кого же, однако, может выйти замуж Проскурова?» – и не находили ей достойной партии в околотке. Эти толки не доходили до князя, но он и без них не мог не видеть, что его Оля – не вечная жилица в его доме, и что близится то время, когда не он, не отец, а другой завладеет всецело ее сердцем, которое (князь чувствовал это) и теперь не бьется для него так, как этого ему хотелось бы.

Смерть похитила у него одно любящее существо, и он, только потеряв его, понял, как оно было дорого ему, а теперь ему грозила разлукою с другим близким, единственным родным существом свадьба. И князь инстинктивно стал бояться этой свадьбы пуще смерти.

А между тем не только в доме Андрея Николаевича, не только соседи в околотке, но и в столицах вспомнили, что у старого князя Проскурова есть дочь на возрасте наследница всего его огромного состояния. И вдруг у него в Москве и в Петербурге отыскались приятели, старые знакомые. О них он и помнить забыл, а теперь они писали ему вежливые письма, спрашивали, как живет он, советовали бросить затворничество в деревне, приехать в столицу и намекали, что теперь-де можно устроить это его возвращение, чтобы он только понадеялся на них и выразил согласие, а они уже похлопочут и все устроят.

Проскуров сразу понял истинную причину пробуждения этой приязни старых друзей – у каждого из них, как нарочно, оказывался взрослый сын. И князь с тайным злорадством отвечал на письма, что своим деревенским житьем он доволен, что он стар, что трудно ему подниматься на старости лет всем домом, а главное – не находит нужным тащиться в столицу, когда ему и в деревне хорошо.

Как в продолжение всей жизни, так и теперь странно шутила судьба над князем Андреем Николаевичем: когда он хотел, желал жить в Петербурге – обстоятельства заставляли его уезжать; теперь не было сомнения в том, что дорога ему в столицы откроется свободно, – но он уже не имел охоты стремиться туда, потому что там пугал его призрак свадьбы дочери, для которой, собственно, и звали его туда.

Каждый человек меряет жизнь по своей собственной; так и Проскуров: он не исключительно из себялюбивого страха – остаться одиноким – боялся выдать дочь замуж. Он помнил свою жену и никогда не переставал винить себя, ее мужа, в ее преждевременной смерти; а если сам он, Проскуров, был таков, то что ожидает его Олю в замужестве?

Чтобы решиться отдать дочь, для князя нужно было решить почти невозможную задачу: найти человека лучше самого себя, и в силу этого каждый, кто мог рассчитывать на взаимность Ольги, становился вдвойне неприятен ему.

Пока в письмах, получаемых Андреем Николаевичем, были одни лишь намеки, они только доставляли ему удовольствие писать язвительные ответы, скрытые под изысканно-вежливою формой. Однако вскоре дело приняло более серьезный оборот. Князь Голицын написал прямо, что много слышал о красоте княжны, что нельзя же девушке жить затворницей, что пора ее отцу подумать о женихе для нее, и что он, князь Голицын, помнит Андрея Николаевича, всегда ему любезного, и что у него есть сын, обладающий превосходными качествами. Письмо было составлено, разумеется, очень гладко, с незаметными переходами, но смысл был более чем ясен.

Предложение казалось таким, над которым следовало подумать: сын князя Голицына являлся блестящей партией во всех отношениях. Однако Андрей Николаевич отказал ему без долгих рассуждений. Он вышел из себя уже, не распечатав еще письма: на адресе стояло злополучное «и бригадиру». Это было достаточно, чтобы князь отнесся к письму с полным предубеждением. Узнав его содержание, он окончательно вспылил. У него разлилась желчь, и он три дня был болен.

Но это первое, поставленное ребром, приглашение расчистило почву для последующих, и вскоре князь Андрей Николаевич должен был принять у себя, в Проскурове, человека, о котором ему приходилось решать, лучше ли он его самого.

V. Жених

Барон Ульрих фон Эйзенбах, проживавший у себя на родине последние крохи значительного когда-то состояния, бывшего у его предков, приехал в Россию искать счастья. Здесь он хотя и нашел его, но все-таки это казалось не то, что он ожидал. Как бы то ни было, барон Эйзенбах все же устроился в Петербурге, женился на русской и прижил с нею сына Карла.

С князем Проскуровым барон сошелся по службе и впоследствии сумел поддержать дружеские с ним отношения. Несмотря на то, что князь даже ссужал его иногда деньгами, эти отношения не испортились. Барон оказывался аккуратен и день в день, час в час платил свои долги.

С переездом князя в деревню барон находился с ним в постоянной переписке, причем никогда в его письмах не было ничего, что могло бы раздражить Андрея Николаевича. В них сообщались лишь сведения, всегда приятные князю: последний из этих писем узнавал о неудаче того или другого в ход пошедшего лица и видел, что не один он на свете терпит немилость судьбы.

Все поручения, какие нужно было исполнить для князя в Петербурге, были ли это мелкие покупки или большие тяжебные дела, исполнялись обязательным и аккуратным бароном, и исполнялись самым точным образом. Ни разу ничего не было забыто, ни одной тяжбы не проиграл Андрей Николаевич при посредстве своего приятеля.

Кроме того, барон очень ловко давал при случае понимать князю, что он все-таки имеет какое-нибудь значение в столичном служебном мире и что он – не кто-нибудь, а потомок славного дворянского немецкого рода. Князь благодаря этому не считал его ниже себя, но, напротив, относился к нему, как к приятелю, которому он даже многим обязан.

Итальянец, приглашенный князем для составления родословной, был рекомендован тоже бароном, и через этого-то иностранца Эйзенбах имел аккуратно сведения обо всем, что происходило в Проскурове.

Недаром, разумеется, барон хлопотал для князя, держал на откупу иностранца при нем и ухаживал в продолжение долгих лет за стариком Проскуровым. Восемнадцать лет тому назад, на скромных крестинах княжны Ольги, барон решил: «Вот будущая жена моему Карлу!» – и с тех пор вел правильную осаду для завоевания своему Карлу счастья, гарантированного богатым приданым княжны.

Он заботился о сыне, насколько хватало у него сил. Карла природа наградила всем, чем только могла, – и умом, и молодцеватым видом, и красивым лицом. Об одном только жалел его отец, а именно, что не может оставить ему крупное состояние, и старался заменить этот пробел, приготовив ему одну из самых богатых невест в России. Само безвыездное житье Проскурова в деревне было на руку барону. Роскошь двора Елизаветы и наличной аристократии в Петербурге на глазах Эйзенбаха съедали целые состояния, имущество же Проскурова лишь увеличивалось от его затворничества в деревне. Одиночество же этой затворнической жизни лишало барона конкурентов в задуманном им деле, потому что он знал наверное, что на письме никто так не сумеет подойти, как он, к взбалмошному и своенравному князю.

У Андрея Николаевича была одна склонность; она проявилась сравнительно недавно, но тем не менее с необычайною силой, как всякая прихоть: он полюбил цветы, в особенности розы. Расширяя коллекцию их, князь поручил барону выписать и выслать ему целую партию кустов. Эйзенбах исполнил это, как всегда, крайне тщательно. Князь остался ими очень доволен и целый угол своего сада отделил специально под розы. Они разрослись и, покрытые цветами, представляли действительно прекрасный вид, производивший совсем необычайное впечатление.

Весною того года, когда исполнилось Ольге восемнадцать лет, князю понадобились еще какие-то совсем особенные сорта. Он написал об этом барону. Тот ответил, что достанет розаны из императорских оранжерей, что по нежности их они требуют очень тщательной упаковки, а главное – перевозки, и доставить их затруднительно, но, по счастью, его сын Карл намеревается поехать в Москву и по дороге может, если угодно, завезти посылку собственноручно к князю.

Андрей Николаевич был поставлен до некоторой степени в тупик этим письмом приятеля. В этом письме, разумеется, не было и тени намека относительно каких-либо видов барона по отношению к княжне, однако старый князь сразу отнесся недоверчиво к появлению у себя молодого человека. Но отказать было трудно. Проскуров понимал, что нет причин обидеть старого и всегда обязательного приятеля. К тому же неизвестно еще, каков собою этот молодой Карл фон Эйзенбах; может быть, он и некрасив, да и влюблен уже в другую, да вовсе и не думает о княжне Проскуровой, так отчего же ему не приехать? И Проскуров выразил согласие видеть у себя молодого Карла, который привезет ему новые сорта роз.

Тем не менее, сообщив старику-барону о своем согласии, Андрей Николаевич впал на несколько дней в дурное расположение духа. Он молчал за обедом, подолгу ходил по саду один и наконец объявил раз за столом, что вскоре-де к ним приедет из Петербурга «петиметр» (почему Проскуров уже заранее, даже не видав Карла Эйзенбаха, пожаловал его в петиметры, этого и сам он, пожалуй, не знал вполне основательно).

Не знал также Андрей Николаевич, что главною целью поездки барона Карла была не Москва, а именно Проскурово. Туда он должен был заехать якобы по дороге, но на самом деле старый барон Эйзенбах, денежные дела которого были далеко не в блестящем состоянии, с большим трудом собирал сына в эту поездку. Проскуров не знал, каких трудов стоило его приятелю найти средства на этот случай для сына. Однако, несмотря на затруднения, все было сделано не только с уменьем соблюсти известные внешние приличия, но даже с расчетом на некоторое впечатление. Карл ехал в собственном, весьма удобном и изящном экипаже, с ним были запас щегольского платья, два лакея. Кроме розанов он вез в подарок князю бювар, за который, скрепя сердце, старик Эйзенбах заплатил хорошие деньги.

Все это было ставкою опытного игрока, рассчитавшего на почти верный выигрыш и не жалеющего увеличить свой ударный, рассчитанный куш. Эйзенбах сильно рассчитывал на свадьбу сына с княжною Проскуровой. Эта свадьба могла не только поправить его дела, но и позолотить побледневший герб барона, и позолотить с честью.

Таким образом молодой барон Карл явился в Проскурово блестящим гостем.

Его встретили тут с не меньшим достоинством и тактом. Сейчас же по приезде барона отвели во флигель, где были приготовлены для него комнаты. Почтенный дворецкий с медлительными и важными движениями явился к нему спросить, не угодно ли будет барону откушать у себя, потому что господа уже кончили обед и князь Андрей Николаевич легли почивать после обеда, но, проснувшись, примут барона через два часа.

Проговорив все это, дворецкий откланялся, и барон мог, если ему было угодно, сделать честь расставленным на круглом столе блюдам на серебряном подносе. Флигель, отведенный под его помещение, был сплошь увит ползучими растениями, ветви которых причудливым кружевом свешивались над окнами, пропуская сквозь свои тонкие листья лучи солнца, заливавшие широкий цветник пред флигелем.

Эйзенбах устал с дороги, чувствовал голод и с тем большим удовольствием принялся за вкусные блюда. Он ел не спеша, стараясь оглядеться и оценить ту роскошь, в которую попал теперь и которая, может быть, со временем станет его собственностью. Ему было приятно чувствовать вокруг себя прохладу уютных комнат, уставленных штофною мебелью и дорогими вещами; ему было удивительно после только что испытанных неприятностей и лишений дороги видеть пред собою стол, за которым он сидел, отрезать золоченым ножом кусок паштета, кото-

рому позавидовал бы король Франции, наливать вино из хрустальных графинов и чувствовать ароматный, нежный, особенно во время еды, вкусный запах фруктов, поставленных пред ним в хрустальной же вазе, на причудливой серебряной подставке.

«Этот князь, – соображал барон, сидя за столом, – должен быть страшно богат, гораздо богаче, чем мы думали с отцом».

И он еще раз в душе решил, что постарается вести себя по возможности умно и дальновидно, не отступая ни на шаг от тех советов, которые давал ему предусмотрительный отец при отъезде.

Встав из-за стола, Эйзенбах начал одеваться, чтобы представиться князю. Камзолы, привезенные им с собою и казавшиеся ему в Петербурге довольно богатыми, теперь, после виденной им в Проскурове роскоши, были едва только приличными, и самый роскошный наряд, про который он говорил отцу, что едва ли стоит его делать, так как пред князем необходима скромность, показался ему совершенно соответствующим.

Когда Эйзенбах оделся со всею тщательностью аккуратного человека, к нему снова явился важный дворецкий с докладом о том, что князь проснулся и ждет к себе молодого гостя.

VI. Дипломатический разговор

Карл Эйзенбах был введен дворецким в большой кабинет старого князя. Тот сидел у окна в кресле. Рядом с ним стоял столик, на котором в чинном порядке помещались очки, табакерка, платок, фарфоровая саксонская чашка с крышкой, стопка золотообрезной бумаги и карандаш.

Князь имел обыкновение вслед за послеобеденным сном один оставаться у себя в кабинете у окна некоторое время, в продолжение которого часто делал на отдельных листках заметки. Часть их вручалась управляющему и заключала в себе распоряжения по обширным делам и хозяйству, часть переносилась непосредственно со столика в секретный ящик бюро с тем, чтобы не быть вынутыми оттуда.

Никто не смел своим появлением нарушать это молчаливое «сиждение» князя у столика, и если в редких случаях Андрей Николаевич звал кого-нибудь к себе в это время, то делал это только в силу важных и исключительных причин. Таким образом для Карла Эйзенбаха было нарушено одно из обыкновений.

Объяснялось это тем, что Проскуров хотел поскорее увидеть, каков был на самом деле сын его приятеля, заранее обозванный уже им «петиметром», и относительно действительной цели посещения которого можно было догадываться. Поэтому, когда показался в дверях кабинета молодой гость, большие, строгие, выпуклые глаза князя остановились на нем с любопытством.

Несмотря на то, что Андрей Николаевич, умевший часто одним словом, с первого же взгляда охарактеризовать человека, явно смотрел на Карла Ульриха фон Эйзенбаха с тайным желанием подметить в нем какую-нибудь черту; для прозвища, – блестящий внешний вид красивого молодого человека не мог подать ему для этого никакого повода. Карл был высок, строен, хорошо сложен. Его парик и платье ловко сидели на нем. Лаковые башмаки с пряжками, на красных каблуках, красиво облегали узкую ногу. Кружево его манжет отличалось вкусом, хотя было весьма просто. Он стоял пред князем почтительно, но без подобострастной робости. Нельзя сказать, чтобы его красивое лицо с полными румяными губами казалось с первого же раза симпатичным, но производимое впечатление было все-таки скорее благоприятным. Карл знал это и потому так спокойно стоял пред князем, хотя это внешнее спокойствие все-таки стоило ему усилий, чтобы подавить в себе не робость, но некоторое биение сердца при виде этого внушительного, отделанного под темный дуб, богатого кабинета и старика-князя, сурово, строго и испытующе глядящего на него. Карл чувствовал, что серые глаза князя словно хотят, пронизав его насквозь, заглянуть в самый тайник его души, и старался не позволить этого, спокойно и почтительно выдерживая обращенный на него взгляд.

– Ну, познакомимся! – проговорил наконец князь. – Подойди сюда, сядь! Что отец? здоров?.. а?

Карл подошел, чуть заметно улыбаясь. Эта улыбка явилась у него невольно, потому что он знал теперь, что первый и самый серьезный искус выдержан: князь не понял его.

Он ответил не торопясь об отце, потом сказал, что всю дорогу берег розаны, так что те доставлены; по всем вероятиям, в полной неприкосновенности, и вместе с тем просил Проскурова принять привезенный им от отца в подарок бювар.

Князь благодарил, кивая головою. Относительно розанов он сказал: «Спасибо, потом пойду посмотрю», – и, приняв бювар, с удовольствием поглядел на него.

Мозаиковый бювар, сделанный на заказ, с огромным гербом Проскуровых посредине, видимо, очень понравился Андрею Николаевичу. Старый барон знал, чем угодить приятелю.

Князь положил бювар рядом с собою на столик и, кладя его, заметил, что он словно по мерке сделан по тем листкам, на которых он имел обыкновение набрасывать свои заметки.

Карл сидел, скромно опустив глаза, будто не замечая явного удовольствия князя, не считавшего нужным скрывать это удовольствие.

– Ну, а ты что же, служишь? – заговорил опять Андрей Николаевич, слегка морщась при слове «служишь».

Карл глубоко вздохнул и с подчеркнутым сожалением ответил, что служит.

– И хорошо идешь по службе?

– Очень хорошо… Мне вот уже третье место предлагают и повышение! – опять ответил Карл с прежним спокойствием.

Князь нахмурился, но Эйзенбах не смутился. Он знал что делал.

– Вот как! – отрывисто проговорил Проскуров. – А тебе и двадцати трех нет еще?

– Двадцать три будет в августе…

– Молодой, да из ранних! – подхватил Проскуров. – Что ж, при ком из сильных руку имеешь?

Тон князя становился с каждым словом недовольнее.

– Относительно протекции пожаловаться не могу, но должен сознаться, что и служба мне известна до мельчайшей подробности, и по мере сил я стараюсь… Вот недавно граф…

– Ну, и дай бог вам! – вдруг перебил Проскуров и, нахмурив брови и отвернувшись к окну, забарабанил по подоконнику пальцами.

Эйзенбах молчал.

– В чины выйдете, пожалуй, к нам, маленьким людям, в начальство попадете, так не забудьте вашими милостями, – продолжая глядеть в окно, усмехнулся князь.

– Я никогда не выйду в чины! – тихо проговорил Эйзенбах.

Князь быстро взглянул на него удивленно.

– Что так? – спросил он не столько словами, сколько взглядом и всем своим движением.

– Разве на службе умеют ценить истинные заслуги? – в свою очередь усмехнулся Карл. – Небольшой опыт, который я имел, и тот убеждает меня, что лишь искательство и ловкость дают возможность подвигаться вперед; но могу вас уверить, князь, – с жаром вдруг закончил барон, – что каждый истинно достойный человек должен бежать из того омута, который в столицах называют службой.

Находясь почти за пятьсот верст от Петербурга, Карл был уверен, что начальство, которому он еще недавно, уезжая, говорил совершенно противное, не услышит его, а потому мог позволить себе сказать это, чтобы выпустить пред князем первую ракету хитро обдуманной вместе с отцом блокады.

С первого же шага Карл увидел, что не только расчет оказался верен, но результаты превосходят ожидания.

Действительно, не мог не обрадоваться видевший одни только неудачи по службе князь словам молодого человека, который, напротив, идет блестяще и все-таки убежден, что служба, не дававшаяся Проскурову, – омут, его же должен избегать всякий достойный человек!

Улыбка снова осветила лицо князя. Ответом барона он так остался доволен, что, взяв большую щепоть табака, подмигнул гостю, зажмурился и втянул ее, после чего проговорил:

– Так ты говоришь, что служба все равно, что кумовство да дружба?

Карл, никогда не говоривший этого, но сейчас же заметивший, что князь снова начинает говорить ему «ты», наклонил голову и тоже улыбнулся.

– Ну, а если не служить, так что же делать, а? – снова весело спросил Проскуров.

– Судить об этом вообще не берусь, но личное мое желание – при первой возможности ходатайствовать пред государыней об увольнении с тем, чтобы, если у батюшки будут средства, купить поместье и заняться им, – произнес Карл и вдруг с приливом внезапного красноречия (внезапным оно было для князя, потому что Карл всю дорогу обдумывал, как и что он будет говорить) стал объяснять, что истинное призвание дворян не на службе, а именно в деревне,

что не один он, но большинство дельной современной молодежи уважает людей, посвятивших свою деятельность земле; пред ними эта молодежь преклоняется и им хочет подражать. А вслед затем Эйзенбах объяснил, почему именно он и большинство молодежи так думают: – Без служилых людей земля просуществует, а без земли служилые люди – нет! Ведь вся гордость и надежда России заключаются в истинных дворянах, живущих на земле и в годину бедствий идущих на зов своего государя, чтоб нести уже тогда действительную службу. Вот истинно великие люди, вот пример, достойный подражания.

И долго говорил красноречивый Карл фон Эйзенбах, приводил исторические справки, латинские цитаты, метал громы и журчал, как ручеек, постоянно однако следя за впечатлением, производимым на старого князя.

А Проскуров слушал, не перебивая. Речь ловкого барона, словно чарующая музыка, ласкала его слух. Его согнутая спина выпрямлялась, и голова гордо закидывалась назад.

Указ Петра Великого относительно обязательности службы для дворян давно приучил общественное сознание к тому, что вне этой службы нет спасения, и что человек не служащий почти, ничего не стоит. Так думали все, так думал и Проскуров, страдавший своим деревенским житьем и ревниво оберегавший – для вида, разумеется, – это страдание от посторонних глаз, но чувствовавший его тем сильнее.

И вдруг теперь ему свидетельствуют, что, напротив, вся сила, вся суть – в людях, живущих «на земле», что они составляют главное и что уединение князя есть почетное уединение, заметное даже в Петербурге, и вот молодежь желает подражать ему и мечтает не о той карьере, которая не удалась ему, но о жизни, которую он ведет. Значит, не один он, князь, завидует другим, но есть много людей, которые завидуют его положению.

Это открытие, это удовлетворение, после долгих лет тайного унижения – тайного, потому что всегда гордый по виду князь Проскуров внутренне лишь раздражался им, – не могло не подействовать особенно радостно на старика.

«Так вот как! – думал он, пристально смотря в ясные и, пожалуй, наивные глаза барона. – Вот как! Ну не дурак же ты! Молодец!..»

Но вслед за тем легкая тень пробежала по лицу князя: Андрей Николаевич давно научился не сразу доверять людям и всегда отыскивал затаенную причину их слов и действий. Сначала, по-видимому, такой причины в настоящем разговоре не могло быть у Карла, но потом у князя вдруг мелькнула мысль: а что если «мальчишка» морочит его, имея виды на княжну, его дочь?

«А вот мы это сейчас выясним», – подумал снова Проскуров и ласково обратился к гостю:

– Ну, я очень рад был познакомиться! Милости прошу пожить, завтра дочь мою увидишь… Ты долго намерен остаться у нас?

Карл, вполне владея собою, ответил, что благодарит за честь, но едва ли ему будет возможно представиться княжне, так как он намерен завтра рано утром ехать дальше, и просит князя позволения откланяться ему сегодня вечером, а завтра на заре приказать приготовить для него лошадей.

Проскуров с удивлением посмотрел на него. По-видимому, у Карла никаких задних мыслей не было. Как ни странно показалось это князю, но приходилось верить.

– Ну, очень жаль! – сказал он. – А дочь сегодня уехала на целый день со старой своей нянюшкой в монастырь; ужинать одни будем… Так завтра, значит, едешь?

И, как внимательно ни вглядывался Андрей Николаевич в лицо молодого барона, ни одно движение мускула этого лица не выдало Карла.

– Да, мне нужно ехать завтра рано утром! – повторил он.

VII. Рискованная ставка

Князь не солгал, сказав, что Ольги не было дома. Она уехала за пять верст в монастырь на целый день. Там была погребена покойная княгиня, и монастырь был единственным местом, куда отпускал Андрей Николаевич свою дочь.

Ужин был накрыт в маленькой семейной столовой князя.

За столом кроме хозяина и его гостя был знакомый Карлу итальянец, рекомендованный его отцом Проскурову; однако тот не подал вида, что между ним и Эйзенбахами существуют какие-нибудь сношения. Кроме того, в ужине принимал участие и молодой человек, с которым князь обращался как со своим, называя его просто Артемием. Карл знал, что это был воспитанник князя, а теперь его секретарь, но и с ним познакомился, как с человеком, совсем ему неизвестным.

Князь Андрей Николаевич был в самом лучшем расположении духа и так весел, как давно не видали его домашние. Он, видимо, всеми силами хотел показать Карлу, что тот имел полное основание считать лучшей участью человека на земле – жизнь «деревенского затворника», и потому и шутил, и смеялся, как будто вполне довольный своею судьбою.

Карл, в свою очередь, играл роль неподражаемо. Впрочем, он мог от души хвалить барское и беззаботное житье Проскурова. Если бы ему сейчас предложили отказаться от всякого служебного самолюбия, а взамен этого дали этот роскошный дом, эту толпу слуг в золоченых ливреях и богатство Проскурова, то лучше этого он ничего и придумать не мог бы.

И снова два-три намека, сделанных вовремя, льстивая похвала, сказанная кстати, и наивно, словно случайно вырвавшееся признание барона жить навсегда в деревне произвели на князя свое впечатление и отметились в его памяти.

Из-за стола все встали веселые и довольные.

Карл, прощаясь, благодарил князя за гостеприимство и ушел к себе во флигель с веселым, улыбающимся лицом человека, у которого вся душа наружу, чистая и непорочная, как мечта дитяти.

Но, придя к себе в спальню, он уже не скрывал волнения и беспокойства, весь вечер тревоживших его и искусно скрываемых. Он торопливо разделся, велел уложить свои вещи, посмотрел, аккуратно ли сложен новый его наряд, и, отослав наконец слуг и надев полотняный шлафрок, сел было писать отцу, но с первых же строк увидел, что писать ему еще нечего.

Сегодня день весь был очень удачен. Карл чувствовал, что понравился старому князю, и понравился так, что не ожидал этого. Но вместе с тем он понимал, что игра, которую он вел, была очень опасна и что в продолжение ее каждую минуту можно было потерять все. И теперь именно Карл переживал одну из таких минут: положим, он понравился князю; тот не разгадал его, Карл вел себя отлично. Но неизвестно было – понравился ли Карл князю настолько, чтобы тот задержал его в Проскурове, якобы по своей и против его, Карла, воли. Барон рискнул, сказав, что ему нужно ехать завтра, и попросив лошадей рано утром. С одной стороны, это было отлично и окончательно убедило князя, что его гость ни на что никаких видов не имеет. Но с другой – этот ход казался способным сразу разбить все надежды и планы. Если завтра утром Карлу дадут лошадей – он должен будет уехать, и тогда трудно найти предлог для возвращения, и прощай все мечты, расчеты и, главное, расходы, сопряженные с этой поездкой. Но зато, если князь вдруг пожалеет так сразу отпустить приятного себе гостя и не прикажет давать лошадей, тогда кампания почти выиграна. Дальнейшее пойдет, как по маслу, Карл знал себя и надеялся на себя. Правда, он думал, что князь за ужином предложит ему остаться в Проскурове и отложить свой завтрашний отъезд. Но этого не случилось, и, вспоминая, как весь вечер сегодня он ждал и ловил, не обратится ли князь к нему с предложением погостить подольше, Карл чувствовал, что беспокойство неизвестности и сомнения овладевают им все больше и больше. Он

ходил скорыми шагами по комнате, и то ему казалось, что все уже потеряно, и ясно было, что у князя нет причин задерживать его, и он раскаивался в своем слишком рискованном поступке; то, наоборот, ему приходило в голову, что ведь каждую минуту одинаково рисковал он, каждую минуту взбалмошный старик-князь мог рассердиться на него, и просьба о лошадях – такой же риск, как и всякий другой, и все зависит от судьбы.

В то самое время, когда Карл не мог подумать о сне у себя во флигеле, тревожась и беспокоясь о том, что будет завтра, в угловой комнате большого дома, служившей и кабинетом, и спальней Андрея Николаевича, последний поворачивался с бока на бок на широкой кровати, тоже страдая бессонницей от вереницы мыслей, теснившихся в его голове.

Сначала он долго думал о Карле, и чем больше думал о нем, тем больше нравился ему барон.

– Славный, славный мальчик! – бормотал князь, имевший привычку иногда вслух произносить то, что было у него на уме.

И он с удовольствием вспоминал, как Карл умно, смело и последовательно доказывал, что ненавистная ему до сих пор жизнь в деревне – лучший удел избранников счастья. Тут и самолюбие князя было польщено, и являлось сознание, что недаром прожиты им годы, долгие и скучные.

Андрей Николаевич удивился, как раньше ему не приходило этого в голову. Он не подозревал, что для него нужен был именно внешний толчок, свидетельство постороннего лица, чтобы направить его мысль на самоутешение. И впервые в жизни Проскуров почувствовал себя если не вполне счастливым, то, во всяком случае, примиренным с судьбою. Это примирение было настолько приятно ему, что он, хотя и знал, что от волнения заснуть не может, все-таки боялся, чтобы сон не сомкнул ему глаз, – так хорошо ему казалось теперь наяву и так радовался он проявившемуся у него сознанию благополучия. И он медленно повернулся на другой бок.

Новые, совсем новые мысли внезапно охватили князя, как будто, переменив положение тела, он почувствовал внутри себя тоже переворот, словно в нем пробудился совсем другой человек, который совершенно неожиданно стал рассуждать таким образом:

«Я не хочу отдать Ольгу ни за кого замуж, потому что боюсь ее несчастья и боюсь лишиться ее, чтобы не остаться одному. Но почему я до сих пор воображал, что нельзя устранить этих препятствий? Если найдется человек молодой, красивый, приличный, с хорошим именем, который пожелает остаться в деревне навсегда, тут у меня, на моих глазах, и составить счастье дочери, то разве не одну лишь радость принесет мне это? Я с нею не расстанусь тогда, и сам уже буду следить за отношениями к ней мужа. Лишь бы нашелся такой человек».

И князь, не признаваясь себе в этом, чувствовал, что такой человек уже нашелся, и это – Карл Эйзенбах. Он был красив собою, горд дворянским именем своего древнего рода и казался настолько благоразумным, что мог, если присматривать за ним, явиться идеальным мужем.

Князь был уверен, что все эти мысли приходят ему сами собою, что сам он соображает и делает выводы, и не отдавал себе отчета, что все его соображения подсказаны разговорами ловкого барона, который благодаря урокам отца знал, что никогда не нужно убеждать человека прямыми доводами, если это – не пустой разговор: наоборот, в деле серьезном нужно только направить его мысли так, чтобы сам он пришел к желаемому убеждению, и тогда это убеждение будет несокрушимо и твердо.

Как видно, старый барон Эйзенбах знал слабости человеческого сердца, а Карл оказался понятливым учеником. В результате этого рассуждения князя невольно катились, как снежный комок по подставленной ему плоскости, и этот комок разрастался и увеличивался. Князь уже видел себя главою семьи, счастливым, окруженным внуками и внучками, которых он любит, балует, и которые души не чают в своем милом дедушке.

При этой мечте Проскурову показались так милы и дороги его дом и сад, ему так захотелось дожить до тех пор, пока он увидит этот скучный и тихий до сих пор дом, оживленным

новою жизнью родных, близких ему существ, что одно уже предвкушение этой радости делало его почти счастливым.

И с тихой, радостной улыбкой заснул старый князь в эту ночь. Никогда не спалось ему так покойно.

На другой день солнце встало без облачка. Утро было прекрасным и тихим.

Карл еще с вечера велел разбудить себя на заре и, едва его слуга вошел в комнату, как он уже открыл глаза и первым делом послал узнать, готовы ли лошади. Слуга пошел исполнять его приказание.

Быстро, нетерпеливо начал одеваться Карл, беспрестанно поглядывая на дверь, в ожидании известия. А что как ему скажут, что все готово к его отъезду? Что делать тогда, как поступить? Тогда выхода не будет – придется ехать…

Наконец в дверях явился лакей.

«Ну, так и есть, – мелькнуло у Карла в мыслях, – все кончено».

Однако лакей почтительно произнес:

– Его сиятельство просят господина барона пожаловать закусить с ним на террасу.

– А лошади? – спросил Эйзенбах.

– На конюшне не сделано никаких распоряжений.

Лицо Карла озарилось торжествующей улыбкой. В ней блеснула радость, сменившая его волнение, радость настолько же сильная, насколько было сильно волнение. Судьба благоприятствовала ему: рискованная ставка, казалось, выиграна.

VIII. Встреча

Послав сказать своему гостю, что он зовет его к себе на террасу, князь Андрей Николаевич прошел на половину дочери, которая вчера после ужина вернулась из монастыря целою и невредимою.

Ольга встретила его уже причесанная и одетая. Князь боялся, что вчерашняя поездка утомит ее, но, к своему удивлению, увидел, что на хорошеньком личике Ольги не было заметно и тени утомления. Ее тонкие, девственно очертанные, губы так же, как всегда, улыбнулись ему при встрече, голубые глаза были ясны, и матовый румянец играл на щеках.

– Экая ты у меня красавица! – проговорил Проскуров, взяв дочь обеими руками за голову и нежно и осторожно целуя ее в лоб.

Ольга стала рассказывать ему о вчерашней поездке, передала благословение и поклон игуменьи, принесла привезенную для него просфору и, видя, что отец в редко хорошем расположении духа, разговорилась, рассказывая. Она не могла никогда рассказывать спокойно, а быстро увлекалась, щеки ее разгорались и глаза блестели. Князь всегда любил смотреть на нее в такие минуты, но сегодня оживление Ольги, очень шедшее ей, как будто доставляло ему особенное удовольствие. Он любовался ею, не слушая того, что она говорит, и будучи занят своими, зародившимися у него вчера с вечера, мыслями.

– Вы как-то, батюшка, говорили, что к нам должен приехать… Как это называется… Петиметр… – вдруг произнесла Ольга.

Легкая тень пробежала по лицу князя.

– Ну, однако, пойдем! – проговорил он, вставая, и, взяв дочь за талью, повел ее вниз.

Войдя в большой зал с хорами, князь приостановился и, придерживая дочь, показал ей кивком головы на широкое окно, выходившее на террасу, уставленную тепличными деревьями. Там был накрыт стол для утреннего завтрака, и прямо в рамке окна, у стола, виднелась красивая и бравая фигура Карла Эйзенбаха.

– Ты видишь его? – спросил князь у Ольги.

Она молча взглянула в окно, потом с каким-то испуганным удивлением перевела взор на отца.

– Приглядись к нему – он мне нравится, – произнес князь отчетливо и ясно, голосом, которым отдавал приказания. – Он мне нравится, – еще раз повторил он и вышел на террасу.

Летом Проскуров имел обыкновение вставать с восходом солнца, и все домашние должны были следовать его примеру. Вследствие этого у стола кроме Эйзенбаха были в сборе и все остальные.

– А хороший денек сегодня будет! – весело говорил князь, здороваясь с ожидавшими его прихода на террасе и искоса взглядывая на дочь, так как желал незаметно проследить, как она встретит Карла. – Олюшка, – обернулся он к ней, – это – барон Карл фон Эйзенбах, сын старого моего приятеля… Ты сюда сядь, – сказал он Карлу, показывая на место справа от себя.

Лакеи отодвинули стулья и подставили их гостям.

Ольга села по левую сторону от отца, против Эйзенбаха. Дальше за столом поместились Артемий и итальянец.

Недавнее оживление девушки, которым только что любовался Андрей Николаевич у нее в комнате, вдруг совершенно исчезло вместе с румянцем на ее щеках. Она казалась теперь бледною и смущенною и сидела, опустив глаза, словно к смерти приговоренная.

Князь не мог не заметить этой внезапной перемены в ней и тихо спросил ее, когда сел за стол:

– Что с тобою?

Ольга вздрогнула и провела рукою по лицу.

По счастью, Карл нашелся. Он заговорил о красоте княжеского сада, чистосердечно сознаваясь, что никогда в жизни не видал ничего подобного.

Проскуров обернулся к нему и заговорил.

Эйзенбах очень ловко стал поддерживать разговор, но почти не спускал взора с Ольги в это время.

Когда сегодня его пришли звать на террасу, он понял, что увидит ее, и, подумав, сейчас же обсудил, как держать себя с нею.

Итальянец писал его отцу, что княжна очень красива. Карлу это было известно, но и зная о красоте ее, он все-таки был удивлен, когда увидел ее. Пред его глазами была теперь не одна красота; нет, вся женственная прелесть сосредоточилась в этой красоте, чтобы приковать к себе и взгляд, и мечты человека, у которого способно еще биться сердце.

С первого же взгляда на князя Карлу стало ясно, о чем тот думал сегодня ночью и о чем можно было уже догадаться по отсутствию приказания о лошадях на конюшне.

Карл не пропустил ни одного взгляда князя, ни одного хотя бы легкого движения его лица. Он видел и хорошее расположение духа Андрея Николаевича, и легкое движение его бровей, когда Ольга вдруг побледнела, и особенную ласковость к себе Проскурова, – ласковость, которая сильно увеличилась со вчерашнего вечера.

«Все прекрасно!» – подумал Карл и решил, что он может не обинуясь выказывать свое восхищение пред Ольгой: князь этим не останется недоволен.

И действительно, Проскуров, разговаривая с молодым гостем, все время чувствовал направление его глаз, которых тот не сводил с княжны. Андрей Николаевич не должен был сомневаться, что она нравится барону, да иначе и быть не могло.

Что касается Ольги, то Проскуров сначала попробовал объяснить ее смущение первым впечатлением нового знакомства с чужим молодым человеком.

«Ведь не броситься же ей ему на шею, – мысленно утешал он себя. – Что ж, она, как и следует девушке, скромна, вот и все…»

Но вместе с тем что-то внутри князя говорило ему, что в опущенных глазах Ольги и в особенности в бледности, покрывавшей ее лицо, есть нечто еще, кроме скромности и застенчивости: страх не страх, но во всяком случае, недружелюбное чувство к Карлу. Откуда оно могло появиться? Но на этот вопрос старый князь тщетно старался ответить себе.

Молодой Эйзенбах как будто ничего не замечал, и, казалось, слова восторга так и готовы были сорваться у него с языка. Он был так увлечен, что не мог сосредоточить ни на чем остальном своего внимания; словно машинально, не замечая того, что он делает, в рассеянности, он, кончив тарелку с простоквашей, выпил стакан сливок, потом наложил варенцу, а, съев последний, принялся за варенье.

«Ну аппетит!» – невольно подумал итальянец, следя глазами за бароном.

Ольга ничего не ела, продолжая сидеть, опустив глаза. В ней, видимо, происходила какая-то необъяснимая тревога.

– Да что ты, устала со вчерашнего? – опять спросил ее князь.

Она хотела ответить, но губы ее задрожали и подбородок затрясся.

На этот раз на помощь ей пришел ученый итальянец.

– Княжна, может быть, нездорова? – сказал он на дурном русском языке.

– Ты нездорова? – испуганно переспросил ее князь.

– Да… А впрочем, нет… так… голова…

– Хочешь, Иосиф Александрович принесет тебе капли?

Итальянец, которого, собственно, звали Джузеппе Торичиоли и который в России привык откликаться на имя Иосифа Александровича, сделал движение встать. На его попечении была домашняя аптека князя.

– Нет, нет, не надо! – поспешно проговорила Ольга и, налив себе стакан воды, выпила его почти залпом.

Благодаря этому происшествию с княжною за столом сидели недолго. Князь поднялся первым и, когда все встали сейчас же за ним, он, уж уходя, в дверях, как бы только что вспомнив, обернулся к Карлу и проговорил улыбаясь:

– А я и забыл сказать тебе, что лошадей не велел тебе закладывать; разве в деревню приезжают гостить на один день? Ты говоришь, у тебя дела в Москве?

Барон смотрел на князя в нерешимости, что ответить ему.

Но Проскуров не дал ему говорить.

– Так дела подождут, – продолжал он, пригибаясь к Карлу и взяв его повыше локтя. – Подождут ведь, а?

– Мне ли не послушаться вас, князь! – ответил барон с таким выражением преданности и покорности, что Андрей Николаевич рассмеялся тихим, радостным смехом и, похлопав гостя по плечу, произнес:

– Ну, ну, хорошо!.. Поживем – увидим…

Вслед затем он особенно бодрыми и скорыми шагами направился к себе, насвистывая что-то военное.

В приемной, смежной с кабинетом, князя уже ждали приказчики, бурмистры и конторщики с докладом, но, прежде чем позвать их, Андрей Николаевич велел лакею доложить княжне, что просит ее прийти к себе.

IX. Что она скажет?

Ольга вошла к отцу, уже вполне оправившись и стараясь казаться по-прежнему веселою и беззаботною.

Трудно было понять, откуда и как эта воспитанная в четырех стенах проскуровского дома девушка могла научиться в нужную минуту владеть тем особенным, гибким, чисто женским тактом, который способен провести самую опытную наблюдательность.

– Ты, правда, нездорова? – участливо, нежно обернулся к ней навстречу князь, ходивший по кабинету и ожидавший ее в беспокойстве.

– Да нет, батюшка, – как бы шутя, проговорила Ольга. – Это, должно быть, от цветов – слишком сильно пахло ими на террасе.

– От цветов? – недоверчиво протянул Проскуров и глубоко вздохнул.

Он опять вспомнил о своей покойной жене, которая, вероятно, сумела бы разгадать причину тайной тревоги дочери, а он вот не может. И это внутренне обидело его и вызвало то неприятное стеснение в груди, которым обыкновенно обозначалось у него начало проявления гнева.

– Ну, а барон понравился тебе? – спросил он опять.

Ольга слегка вздрогнула и не ответила.

Князь так все хорошо обдумал вчера, в его мечтах такою прекрасною слагалась их общая жизнь в Проскурове, и главное – ему все это так казалось возможно, что он как-то обходил мыслями самое существенное препятствие, а именно следующее: а что, если барон не понравится Ольге? Но у него было столько неудач в его расчетах в продолжение жизни, что, как ему хотелось думать, – уже трудно было ждать и тут опять нового промаха. И вдруг, с первых же шагов дело имело вид не совсем ладный. И от одной возможности допущения ошибки желчь князя начала подниматься. Глаза его сузились, лоб сморщился, и он, близко подойдя к молча стоявшей пред ним дочери, подставил ухо к самым ее губам и резко, крикливо проговорил:

– Что ты говоришь, а? Не слышу.

Ольга продолжала молчать. Подбородок ее снова затрясся, глаза наполнились слезами. Она готова была разрыдаться.

Андрей Николаевич опомнился. Он понял, что пошел напролом, силой там, где можно было добиться чего-нибудь только лаской, и, круто повернувшись, сделал несколько шагов по комнате, стараясь успокоиться.

– Ну, погоди, дочка… Прости… погорячился… Иди к себе… иди! – сказал он наконец тихим голосом, неуверенно подымая руку, чтобы приласкать дочь.

Эта близость ласки обрадовала Олю. Она по впечатлениям детства помнила припадки гнева отца, боялась их какою-то сверхъестественною, неудержимою боязнью и с тем большею радостью и доверием готова была теперь обнять его и в слезах, при его редкой для нее ласке, высказать, может быть, все, что у нее на душе.

Но князь боялся за себя.

– Иди!.. Иди, говорю тебе! – опять крикливо произнес он и, отстранив руку резким движением, опять зашагал по кабинету.

Ольга неслышно скользнула из комнаты.

Долго в этот день бурмистры и приказчики ждали, пока князь станет звать их по одному к себе, и прислушивались из приемной к мерным шагам Андрея Николаевича по кабинету. А он ходил и соображал, ища себе успокоения. И так как он хотел найти себе его, то и доводы приходили ему на ум утешительные.

«В самом деле, – рассуждал князь, – с чего мне это пришло в голову? Да ведь, если бы она оставалась равнодушною, хуже было бы… Конечно, хуже… И разве можно было спрашивать

так прямо? Какая же девушка скажет?.. Ну, первый раз в жизни видит молодого человека… Не могла же она камнем сидеть… А выказывать радость было бы неприлично»…

И чем дольше думал Андрей Николаевич, тем более опять, как вчера, успокаивался, находя, что решительно не было причин ему выходить из себя.

Не было сомнения, что Ольга понравилась барону с первого же взгляда. А она? Да чего же ей еще? Он и ловок, кажется, и умён, и красив, и имя имеет… Да где же сыскать еще такого молодца?

И, к своему удивлению, подначальные князя, когда он наконец призвал их к себе, вместо ожидаемого гневного на сегодня приказа, обыкновенно следовавшего за долгим хождением барина по кабинету, получили, напротив, милостивое разрешение всех дел.

Карл, беспрекословно подчинившийся воле князя и тем еще более выигравший в его глазах, написал подробно отцу и остался жить в Проскурове, ожидая дальнейших событий.

Главное препятствие было пройдено – старый князь оказался на стороне ловкого и дальновидного молодого человека. Но в отношении Ольги барон положительно не знал, как ему подойти. Он, видавший на своем веку виды, понимал, что сразу вступить в какие бы то ни было объяснения являлось более чем опасным. Сначала все должно было если не решиться, то, во всяком случае, подготовиться посредством того непереводимого языка любви, который при помощи взгляда, выражения, интонации совершенно обыкновенных, по-видимому, слов говорил яснее всяких объяснений, и затем эти объяснения должны были подтвердить только то, что давно уже жило в душе обеих сторон.

Чем чаще видал Ольгу Эйзенбах, тем сильнее становилось его вполне искреннее чувство к ней. Но, как ни старался разгадать он задумчиво-грустный взгляд Ольги, трудно было подметить в нем не только ответ на это чувство, но даже легкий проблеск надежды, что этот ответ может явиться хоть со временем. Ольга была вежлива с гостем отца, говорила с ним, но как бы нехотя, и если смотрела на него, то тем холодно-стальным взглядом, которым умеют смотреть женщины на ненавистного им человека. Инстинктом влюбленного Карл чувствовал весь скрытый смысл этого взгляда, так же далекий от поэмы любви, как далека была Ольга от проявления нежности к красивому барону.

Барон ломал голову над тем, чем мог он провиниться пред нею, но все его усилия были тщетны. К тому же Ольга была непроницаема и с самого своего приезда он не видел ни разу на лице ее ни оживления, ни веселости. Он спрашивал у Торичиоли, всегда ли Ольга такая. Итальянец качал головою и говорил, что в последнее время просто не узнает княжны.

Карл пробовал все средства ухаживанья, не раз примененные им и увенчавшиеся успехом: то он, как в первый день их знакомства и утро встречи на террасе, старался показать, что до того занят ею, что не замечает ничего кругом, то, напротив, прикидывался равнодушным и делал вид, что не обращает внимания. Иногда он заводил умные, горячие, поэтические разговоры, рассказывал истории, полные страсти, но Ольга слушала все это с видимым терпением притворной любезности, пугалась, когда он подчеркивал свое внимание к ней, и вздыхала свободнее, когда он не замечал ее.

Старый князь, обдумавший положение и успокоивший себя тем, что рано или поздно девушка не может остаться равнодушной к исканиям честного, порядочного и красивого молодого человека, удерживал у себя влюбленного барона и – в ожидании исполнения своих грез – строил новые планы будущей жизни, еще заманчивее прежних.

Когда сильно желаешь чего-нибудь, то невольно веришь, что желание сбудется, и невольно готов истолковать все в пользу этого своего желания. Так и князь, ослепленный своими мечтами и неспособный к тому наблюдению посредством инстинкта, которым владел Карл благодаря своему чувству, не видел холодности Ольги и верил, что, напротив, она уже начинает интересоваться молодым Эйзенбахом.

С отцом Карла он поддерживал все это время деятельную переписку. Старый барон отвечал ему немедленно же и с верной оказией. Он также писал сыну, сообщая ему вкратце, что пишет ему князь, и делая наставления Карлу, как держать себя и как вести к благополучному окончанию так блестяще начатое дело. Относительно «молодой девушки», как он называл Ольгу в своих письмах, старик Эйзенбах почти не сомневался. «Ты у меня – такой славный мужчина, – писал он Карлу, – что не только запертую в захолустье княжну, но и петербургскую девицу сумеешь обуздать и послушною сделать», – и как бы для того, чтобы придать еще более храбрости Карлу, добавлял, что его отсутствие в Петербурге заметно и о нем скучают некоторые персоны.

«Славный мужчина» был польщен этими похвалами и одобрением, но все-таки не находил пути, дабы, по выражению отца, «запертую княжну обуздать и послушною сделать».

Наконец через три с половиной недели своего пребывания в Проскурове Карл получил от отца радостное известие, что старый князь прислал в Петербург письмо, в котором делал более чем прозрачные намеки и звал старика-барона к себе в деревню погостить. Ясно было, что Андрей Николаевич затевал формальное сватовство. Карл понял, что долее терять время нечего, и решил во что бы то ни стало объясниться с Ольгой.

X. Соловьиная песнь

Карл сидел с письмом отца в руках у окна своего флигеля. Пред ним за расположенным под окнами цветником виднелась часть проскуровского сада, устроенного князем в первые годы пребывания в деревне.

Этот сад был большой, со множеством перекрещивающихся дорожек и аллей, лабиринт которых молодой Эйзенбах успел уже изучить во время своего трехнедельного пребывания в гостях у князя.

От цветника у флигеля, окруженного подстриженными на голландский манер деревьями, шли клумбы другого большого цветника, примыкавшего к террасе главного дома. Дальше виднелось начало первой аллеи, терявшейся затем в глубине высоких лип. Направо узкой змейкой вилась, дорожка в самый красивый угол сада, засаженный розанами и кончавшийся обрывом у реки.

Был тот час вечера, когда солнце еще не закатилось совсем, но сумерки постепенно уж наплыли и сгустили тени в чаще дерев. Жаркий день сменялся теплым вечером. Воздух был так хорош, что Карлу жаль казалось отойти от окна.

Старый князь сказал за обедом, что у него много дел и что он вплоть до ужина не выйдет из своего кабинета. У Карла оставалось свободных часа полтора. Он думал было пойти погулять, но какой-то внутренний голос словно шептал ему, что некуда, да и рано теперь идти и что следует остаться у окна, чтобы дышать этим легким, пахучим воздухом и смотреть, как медленно лиловые сумерки охватывают все кругом, давая предметам волшебные, фантастические очертания.

Сегодня это тихое, вечернее погружение природы в сон было особенно нежным. Никогда тени не казались так глубоко прозрачны, никогда отблеск потухающих лучей не переливался в высоком небе такими причудливыми красками и никогда почему-то не дышалось Карлу так легко, как сегодня.

Вдали – должно быть, у реки – пел соловей, и отклик его песни словно наполнял собою дрожащий истомою, влажный, но теплый воздух.

Вдруг Карл приподнялся со своего места и, высунувшись в окно, стал внимательно вглядываться пред собою. От большого дома, между клумбами цветника, шла, не торопясь, спокойною, уверенной походкою Ольга. Барон сделал усилие, чтобы приглядеться еще – не обманывают ли его глаза; нет, он не ошибся, это была действительно Ольга. Она шла, опустив голову. Он узнал ее голубое платье и косыночку.

Ольга, миновав цветник, направилась не по главной аллее, а по дорожке к розанам. Она была одна.

Сама судьба, казалось, давала Карлу возможность переговорить с нею при самых подходящих условиях. Но выйти из флигеля с тем, чтобы нагнать ее на дорожке, было рискованно и опасно. Она могла повернуть назад, к дому и тогда случай был бы упущен. Карл сейчас же сообразил это и, будучи предусмотрительным даже в увлечении, немедленно составил план необходимого действия. Самым лучшим было спуститься низом и короткой дорогой достичь обрыва, подняться к розанам и пойти навстречу княжне, сойдясь с нею как бы случайно.

Не теряя ни минуты, Карл схватил шляпу и почти выбежал из флигеля со стороны, противоположной цветнику.

Быстрою, уверенною походкой подвигался Карл вперед, пробираясь по сухим от росы местам. Хотя избранный им путь значительно сокращал расстояние, но все-таки нельзя было терять время, потому что приходилось сторониться от кустов и выбирать дорогу так, чтобы мокрая трава не слишком замочила башмаки и чулки: ведь неловко было показаться княжне в неряшливом виде.

Благодаря этому Карл достиг обрыва позже, чем думал. Если бы Ольга ускорила шаг, она могла бы дойти уже к розанам. Но назад уходить Карлу не было основания. К тому же он надеялся, что княжна продолжала идти так же медленно, как и вначале, когда он видел ее из окна.

Достигнув кустов наверху, он остановился. Ему послышалось движение за ними. Ольга была здесь.

«Скоро, однако!» – мелькнуло у Карла в голове.

Теперь ему было бы неловко прямо вылезать из кустов, и он решил неслышно пробраться на дорожку и выйти оттуда к Ольге. Только сначала ему хотелось удостовериться, она ли это была здесь. Он осторожно, чуть дыша, раздвинул ветки кустов. На него пахнуло сладким, густым, пахучим ароматом розанов, его глазам открылась небольшая площадка, и, взглянув туда, Карл замер от удивления, неожиданности и вдруг поднявшейся злобы. Ему сразу все стало ясно.

На площадке на скамейке сидел Артемий, молодой воспитанник князя; Ольга подходила к нему, с трудом переводя дух от быстрой ходьбы.

– Долго ждал? – спросила она, приблизившись к скамейке, и привычным движением любимой и счастливой этою любовью девушки опустила обе руки на плечи Артемия.

Он вместо ответа охватил ее талию, а другой рукой взял ее руку и прижал последнюю к своим губам.

– Долго ли ждал? – проговорил он наконец. – Да теперь мне уже казалось, что ты никогда не придешь ко мне.

И он снова прижался губами к руке девушки.

Дрожь пробежала по спине Карла, в висках застучала прихлынувшая кровь; одно мгновение у него мелькнула сумасшедшая мысль кинуться вперед, но он сделал над собою усилие и прилег к земле, не спуская жадных, завистливых взоров с того, что происходило пред ним. Нужны были почти сверхчеловеческие усилия, чтобы не выдать себя несчастному Карлу.

– Погоди! – сказала княжна. – Дай мне сесть, я слишком торопилась идти, – и она опустилась на скамейку рядом с Артемием. – Ну, отчего теперь тебе показалось, что я не приду?

Артемий вздохнул.

– Теперь другое, Оля!..

– Отчего же другое, отчего? Я тебе говорю, что из всего этого ничего не выйдет, ничего он не добьется от меня… ему надоест здесь жить, он уедет и все пойдет по-старому.

Теперь, когда она села, Карлу было видно вполоборота ее оживленное счастьем лицо, дышавшее еще невиданной им прелестью.

Артемий снова вздохнул, опустив голову:

– И как все хорошо было, Оля, до сих пор!

– И потом будет хорошо… ты увидишь, я знаю… Послушай! Разве мало ему петербургских красавиц? Ну, что ему во мне?.. Разве он не найдет лучше меня?

Артемий улыбнулся и отрицательно покачал головою.

«Боже мой, Боже мой! – думал Карл. – Как она хороша, как она хороша!»

И он вспомнил петербургских красавиц, про которых говорила Ольга, набеленных и нарумяненных, и та же улыбка, что у Артемия, скользнула по его губам.

– Ты заметил, – продолжала Ольга, – я делаю все, чтобы казаться ему дурною; и одеваюсь хуже, и глупости говорю…

Артемий, счастливый этой преданностью любви, рассмеялся тихим смехом, а затем сказал:

– Да разве это возможно? Ведь, что бы ты ни делала, ты все-таки останешься красавицей… Милая моя, милая!..

И Карл, стиснув от бешенства зубы, снова увидел, как Артемий взял Ольгу за талию, а она прижалась к нему, видимо, желая, если не словами, то лаской рассеять его беспокойство.

– И потом я не знаю, – начал снова Артемий, – но иногда приходит в голову, что вдруг…

Тут он запнулся.

– Что «вдруг»? – переспросила Ольга.

– Ты разлюбишь меня…

– И тебе это не стыдно думать? Не стыдно тебе, а? – воскликнула Ольга.

В ее голосе слышалась шутка, но Артемий делался все серьезнее.

– Право, я иногда сравниваю себя с ним и чувствую, что он лучше меня, – произнес он.

Теперь, казалось, очередь рассмеяться была за Ольгою.

– Кто? – проговорила она. – Кто лучше тебя? Эта петербургская кукла, этот барон с вывороченными глазами? Ты замечал, как он иногда смотрит на меня? Мне всегда смешно, когда он начинает ворочать белками.

Но, не договорив, она вдруг вздрогнула.

– Что с тобой? – спросил Артемий.

Ольга, вытянув шею, прислушивалась.

– Нет, ничего… Мне показалось, точно шорох… наверное, птица.

Карл чуть не выдал себя, пальцы его судорожно сжались, и он сделал невольное движение вперед.

– Конечно, птица, – ответил Артемий. – Кому же быть теперь? Ведь князь сказал, что не выйдет до ужина, итальянец – в библиотеке.

– А петербургский барон?

– Кажется, пишет письмо к родителям.

– Ну, вот, видишь, значит, это время наше, мое, и ты – мой! Ну, что же, все еще не веришь? Не успокоился?

– Ах, Оля! Вот ты сейчас назвала барона петербургскою куклой, значит, если бы он был иной, лучше, чем есть, ты бы тогда…

«Проклятый мальчишка, найденыш!» – бешено стиснув зубы, думал Карл, которому было слышно каждое слово.

– Ну, еще, еще что? – перебила Ольга. – Ах, какой ты смешной и милый!.. Да, будь он в десять раз лучше, чем ты представить себе можешь, я и тогда не променяла бы тебя… Довольно?

Замолкнувший соловей, отголосок песни которого Карл слышал, выходя из дома, снова начал петь где-то близко, гулко, точно только что почуяв возле шепот любви и торопясь приветствовать его своею песнью.

Это был хороший нотный соловей, он чисто проделал почин с оттолчкой, а затем сделал два колена и рассыпался дробью, раскатился, запленкал, протянул, перешел в звонкий свист, защелкал гусачком и разлился бесконечною трелью.

Артемий и Ольга притихли. Она положила ему на плечо голову, прислушиваясь к пению.

Эйзенбах едва себя сдерживал, чтобы не вырваться из засады. По счастью, он понимал, что, выскочив, ничего не выиграет, что, напротив, ему нужно притаиться теперь, несмотря на то, что пытка его была невыносимой. И он молча давал себе клятвы в том, что счастливый Артемий дорого заплатит ему за испытываемые им муки. Время для него казалось теперь вечностью.

А Ольга и Артемий, как нарочно, словно дразня его, сидели счастливые, упоенные своим счастьем, и соловей дразнил его своей песнью, а вечер охватывал его томною негой.

«Господи, да долго ли они будут сидеть так?» – думал Карл, чувствуя, что сила и последний остаток благоразумия изменяют ему и он готов уже кинуться вперед, чтобы задушить этого Артемия.

– Ты слышишь эту песню? – заговорила Ольга, – слышишь, милый?.. Ну, так вот так же, как хороша эта песня, так же, как хороши и этот вечер, и мир Божий, и жизнь моя, так же мне хорошо с тобою, и клянусь тебе, что или ты, или никто… никого мне не надо, кроме тебя одного… я люблю тебя…

А соловей, будто желая засвидетельствовать и подтвердить эту клятву, с особенной силой и прелестью завел новую песню.

XI. Отец

Карл, шатаясь, вернулся в свой флигель; но он выдержал до конца, не выдав себя ни одним неосторожным движением и не пропустив ни одного слова из подслушанного разговора Артемия с Ольгой.

«Так вот оно что! – соображал он, – так вот причина ее смущения при знакомстве, вот где тайна ее обращения со мною!.. Но что же делать теперь?»

Однако он чувствовал, что немедленный ответ на этот вопрос дать себе не может и что ему нужно прежде всего успокоиться, чтобы обдумать, как поступать дальше.

Голова барона горела, тело дрожало, как в лихорадке, дыхание прерывалось. Он чувствовал, что переживает одну из тех минут, когда люди, вполне здоровые и владеющие полным разумом, способны вдруг потерять его.

Карл решил сказаться больным и не выходить к ужину. Он действительно был совсем болен.

Он призвал к себе слугу, чтобы тот помог ему раздеться; но лакей доложил, что приходил из большого дома дворецкий сказать, что князь Андрей Николаевич просит барона к себе немедленно, как только они вернутся с прогулки.

Карл взглянул на него недоумевающими, рассеянными глазами и спросил, поднося руку ко лбу:

– Что ты говоришь? Какой князь? Куда он зовет меня?..

– Князь Андрей Николаевич, – пояснил лакей. – Они желают вас видеть до ужина, к себе приказали просить.

– Да, к себе, – машинально повторил Карл и, так же машинально взяв поданную ему лакеем шляпу, пошел к князю.

Никогда он так сильно, как теперь, не любил Ольгу, то есть никогда она не нравилась ему так, как теперь, и вместе с тем он ненавидел ее.

Он шел по знакомой дороге в кабинет старого князя, не давая себе хорошенько отчета, что идет туда. Мысли его были все еще заняты только что виденным; пред затуманившимися глазами были Ольга и Артемий, а в ушах звучала соловьиная песнь, под которую Ольга произносила свою клятву.

Андрей Николаевич сидел у стола, перебирая бумаги. Он, наморщив лоб и пригнув слегка голову от мешавшей ему видеть в глубину комнаты зажженной на столе восковой свечи, всматривался, чтобы разглядеть, кто вошел.

– А, это ты, – ласково проговорил он. – Что, гулять ходил?

– Вы меня звали? – спросил Карл, чувствуя, что голос изменяет ему.

Князь опять поглядел в его сторону, точно не узнавая его голоса. Эйзенбах постарался остаться в тени.

– Да, я звал тебя, – начал Проскуров, – и по очень серьезному вопросу. – Он взял большую щепоть табака и потянул его с тем особенным удовольствием, которое служило у него признаком, что вещи, которые он намеревается сказать, будут приятны. – Вот что, мой милый! Надобно тебе знать, что с первого же дня твоего приезда ты понравился мне, и оттого я удержал тебя у себя… Теперь я узнал тебя ближе и еще более полюбил…

«Боже, как мог бы я быть счастлив!» – подумал, невольно вздохнув, Карл.

– Ты что говоришь? – спросил князь.

– Нет, я слушаю.

– Ну, вот! Так задерживал я тебя недаром. Житье в Проскурове нравится тебе?

– Да, нравится.

– Ты, кажется, не прочь от деревенской жизни?

– Нет, я очень люблю ее.

– И мог бы не выезжать из деревни долго?

– Да, – чуть слышно подтвердил Карл.

Он понимал, к чему клонились эти вопросы князя. Он сознавал, что счастье его жизни должно было решиться сегодня, и князь начал разговор об этом именно сегодня, почти сразу после того, как Карл мог воочию убедиться, что счастье не суждено на его долю.

Если бы Проскуров знал, что испытывает теперь Карл, то не говорил бы так ласково-спокойно. Эта его ласковость и приветливость только увеличивали страдания молодого человека.

А князь, довольный своими мечтами и довольный тем, что пора приводить их в исполнение, не спеша рассказывал, что он в переписке с отцом Карла решил многое: что старик барон выедет на днях из Петербурга и что если Карл не знает, в чем дело, то это «многое» заключается в сватовстве его, Карла, к княжне, для чего-де и едет сюда барон Эйзенбах.

– Твой батюшка, вероятно, писал тебе о наших предположениях, – со мной можешь говорить без обиняков, – продолжал князь. – И едва ли, я думаю, ты будешь несчастлив…

Карл молчал.

Князь истолковал это молчание по-своему и продолжал:

– Затеял я наш разговор для того, чтобы узнать отчасти твои мысли и спросить, как, на твой взгляд, относится к тебе твоя будущая невеста… Я знаю, что моя дочь никогда не выйдет из моей воли, но, понимаешь, мне хотелось бы полного счастья между вами, мне желалось бы услышать от тебя самого, что она будет счастлива с тобою, потому что только тогда я буду спокоен окончательно, чтобы прожить остаток дней своих в ненарушимой радости.

– Этого быть не может! – вырвалось вдруг у Карла.

Однако тут же его охватило раскаяние, зачем он сказал это, и если бы князь призвал его к себе завтра, не сейчас, после сцены в саду, если бы у него было время одуматься, приготовиться, то Проскуров, конечно, ни за что не услыхал бы от него этих несчастных слов. Теперь же Карл был застигнут врасплох.

– А почему это, сударь мой? – спросил вдруг в один миг изменившийся князь и, словно ощетинясь, приподнялся на кресле, причем впился в Карла блестящими, сразу налившимися кровью, глазами.

Где-то, в глубине души, Проскуров предчувствовал, что его мечты не сбудутся, что тяготящая над ним немилость судьбы не изменится и на этот раз. И вот при словах Карла: «Этого не может быть» у князя вдруг со всею силою поднялось это сознание вечной неудачи. Да, и на этот раз расчет был неосуществим, как всегда. Но отчего, кто или что помешает ему?

Это заинтересовало князя, и он теперь желал лишь узнать причину, разбившую его надежды.

– Почему это, сударь мой, спрашиваю я вас? – крикнул он, не помня уже себя.

Только теперь увидел Карл, что значили эти страшные припадки гнева Проскурова, про которые он слышал от отца. Только теперь увидел он, до чего может дойти человек, еще за минуту пред тем ласковый и спокойный.

– Мне ваш батюшка писал, что вы всем сердцем рады, а теперь, что же это?.. Да говорите же что-нибудь! – крикнул князь.

– Я, князь, рад, – заговорил вдруг оробевший Карл. – Я, князь, про себя ничего не говорю, но княжна…

– Ну, ну, что княжна? Что княжна?..

– Может быть, у нее найдется другой избранник сердца…

Князь упал в кресло и, откинувшись на спинку, воскликнул:

– Другой избранник сердца!.. Ах ты, шут гороховый!.. Да откуда же взяться этому избраннику?.. В Петербурге у вас девки бегают на свободе, а здесь кого увидит княжна Проскурова?

Кого, спрашиваю я? Итальянца да Артемия… Что ж, она в Артемия влюбилась, что ли? – и князь расхохотался.

Карл стиснул между колен руки так, что пальцы его хрустнули.

Андрей Николаевич вдруг оборвал свой смех и, словно пораженный ужасом и удивлением, обернулся к Карлу.

– А!.. Тебе не смешно?.. Что ж ты не смеешься?.. В Артемия? – проговорил он. – Что ж, разве это мыслимо?

И, точно догадываясь уже по новому молчанию Карла, что для судьбы ничего нет немыслимого, князь, ударяя в ладоши, крикнул Артемия. Он знал, что тот должен был находиться в приемной.

Дверь отворилась и на пороге показался Артемий. Он был бледен, но держался прямее обыкновенного. Голова его не склонилась, глазал глядели открыто и прямо. Он точно вырос в эту минуту.

Барон сидел, напротив, съежившись и втянув голову в плечи.

Старый князь поднялся со стула, большими шагами подошел к Артемию и, схватив его за руку, подтащил к барону и заговорил, резко выкрикивая слова:

– Скажи ему, что он лжет! Он говорит, то есть не говорит он, а молчит… Он думает… Подозревает, что Ольга… Что ты… Пойми ты… Скажи ему, что это – ложь…

Князь совсем задыхался.

Артемий опустил глаза. Он должен был ответить, не мог смолчать. И он ответил:

– Барон говорит правду.

Андрей Николаевич отскочил, точно громовой удар разразился над ним. Он несколько раз перевел с трудом дух, силясь проговорить что-то.

– И… и она? – наконец спросил он.

– Я сегодня сам своими глазами видел, как этот молодой человек сидел с княжною в саду, где розаны… – произнес барон отчетливо и ясно. – Я не мог ошибиться… И я слышал весь их разговор…

Злоба при виде Артемия увлекла его, и он снова не мог удержаться.

Несколько мгновений в комнате было слышно только редкое и тяжелое дыхание старика. Он сидел в неловкой, случайной позе в кресле, и лишь изредка руки его судорожно вздрагивали.

– И это… – заговорил он наконец, – за все мои заботы… За всю мою ласку… За то, что я берег ее… Берег… Для того, чтобы найденыш, без рода и племени, осмелился… Ее… Княжну Проскурову… Вон! – вдруг крикнул князь в сторону Артемия. – Вон, и чтоб на глаза мне не показываться!.. Убью!..

Артемий стоял бледный, с затрясшейся нижнею челюстью, но на крик князя он не выказал испуга, а покорно повернулся и вышел.

Князь опять встал, подошел к Эйзенбаху и, отвесив низкий поклон, проговорил:

– Виноват, кажется, ваша правда. Не оставьте теперь меня одного!

XII. Синьор Торичиоли

Весть о княжеском гневе с быстротою молнии разнеслась по усадьбе, и дворовые, по опыту знавшие, каков бывал рассерженный князь, притаились и притихли, запрятались по своим конурам, чтобы хотя случайно не попасть на глаза грозному барину. Дворецкий, давно не видевший гнева Андрея Николаевича и знавший, что припадок будет тем сильнее, чем дольше был светлый промежуток, дрожал заранее, в ожидании, когда господа выйдут ужинать.

На его счастье, никто не явился к столу. В этот вечер в Проскурове некому было вспомнить о еде.

Карл, придя к себе, лег на кровать не раздеваясь и, заложив руки за шею, долго лежал так, с усилием стараясь разобрать спутавшиеся нити мыслей и прийти в себя после свалившихся так неожиданно на его голову несчастий. Только что происшедшее объяснение с князем было у него, как в тумане. Хотя он и обвинял себя за излишнюю, может быть, горячность, но, обсуждая теперь дело со всех сторон, приходил к убеждению, что трудно было поступить иначе. Все равно, рано или поздно, истина должна была выйти наружу, и то, что случилось сегодня, неминуемо произошло бы тогда.

Долго лежал у себя Карл, пока наконец в дверях не показалась голова лакея.

– Иосиф Александрович просит барона, может ли он войти к нему? – доложил лакей.

– Просите.

Итальянец являлся теперь в Проскурове человеком, которого более всех остальных желательно было видеть Эйзенбаху.

Торичиоли вошел. Карл поднялся ему навстречу и спросил по-немецки:

– Вы знаете, что случилось?

Торичиоли владел этим языком довольно свободно.

– Слышал, – ответил он. – Если бы вы видели, что там происходило! – и итальянец качнул головою в сторону большого дома.

– А что?

– На половине княжны. Князь отправился к ней, и была минута, что он в бешенстве чуть не убил ее. Я там был с каплями. Я его удержал прямо за руку.

– А как же поступить иначе? – спросил он.

– Она молчит. Села в уголок и застыла, не дрогнет.

Карл прошелся по комнате.

– Плохо дело, синьор Торичиоли, – проговорил он.

– Да, барон, нехорошо.

– Я думаю, что все кончено. Выхода нет… Нужно уезжать…

– Значит, все ваши и мои хлопоты пропадут даром? – возразил итальянец.

– А вам сколько обещано отцом в случае, если свадьба состоится?

– Пять тысяч единовременно и пенсия от вашего имени, – вздохнув ответил Торичиоли.

– Вознаграждение хорошее, – улыбнулся Карл. – Ну, теперь придется вам забыть о нем.

– А разве вы хотите бросить дело? Это – ваше окончательное решение?

Барон на ходу остановился пред итальянцем:

– А как же поступить иначе? – спросил он.

– Нужно поискать сначала какого-нибудь исхода…

– Ищите! – Карл опять заходил по комнате.

– Припадок гнева князя пройдет скоро, – начал рассуждать Торичиоли, – тогда он будет к вам опять ласков… Вы не виноваты ни в чем. Нужно победить молодую девушку – вот вся задача.

– Победить, победить! – процедил сквозь зубы Эйзенбах. – Легко сказать это – победить…

Нужно было видеть Карла в эту минуту, чтобы судить, каков был этот человек, когда маска добродушия спадала с него. Лицо его резко изменилось, движения были отрывисты, бешенство горело в глазах. Казалось, он готов был на все решиться, чтобы достичь желанной цели.

– Нужно стараться, – проговорил итальянец.

Карл нетерпеливо взмахнул руками.

– Да разве я не старался, разве не делал все, от меня зависящее, в течение этих трех недель?.. Можно провести отца, но чувство девушки не обманешь!

– Эх, если бы был я свободен действовать! – вздохнул вдруг Торичиоли.

Видно было, что ему и хотелось, и вместе с тем не хотелось говорить то, что он думал.

Искра надежды мелькнула в глазах Карла.

– Вы имеете какой-нибудь план? – живо спросил он. – Слушайте: если княжна будет моею, – кроме пяти тысяч и пенсии, я обещаю вам заемное письмо в пятьдесят тысяч.

– Пятьдесят тысяч! – повторил Торичиоли. – Пять тысяч и пенсия, заемное письмо в пятьдесят тысяч…

– Да, и ценный подарок в день свадьбы еще… Говорите, что вы придумали?

– Средство довольно старое, но тем не менее всегда действительное… У нас, в Италии, есть много секретов. Когда-то я занимался кое-чем. Можно молодой девушке дать несколько капель…

Карл махнул рукою, не желая дальше слушать.

– Я думал, у вас есть что-нибудь более серьезное, – сказал он разочарованно и снова заходил.

Тонкие губы итальянца растянулись в улыбку.

– Неужели, барон, вы думаете, что я говорю вам про те эликсиры, корешки и нашептывания, которые якобы способны приворожить девушку к кому-нибудь или заставить ее полюбить?.. Нет, Джузеппе Торичиоли никогда не занимался шарлатанством… Ему известны рецепты, более действительные, и знания, более точные…

– Что же это? Яд, что ли?

– Зачем яд? – рассмеялся Торичиоли. – Нет, напротив, самый жизненный напиток… В наших интересах, чтобы молодая девушка жила и благоденствовала, а молодого человека, который нам мешает, и без того немедля ушлют куда-нибудь очень далеко… После случившегося сегодня он нам уже не опасен…

– Ну, так я не понимаю… – перебил Карл.

– Очень просто! Молодого человека ушлют – в этом нельзя сомневаться, и вы останетесь хозяином положения, будете одни здесь, и тогда-то несколько капель известной мне настойки могут оказать свое действие.

– Да что же это за настойка? – нетерпеливо перебил Карл. – Что же, заставив княжну выпить ваши капли, вы вольете в ее сердце любовь ко мне?

Торичиоли снова улыбнулся и ответил:

– Любовь? Пожалуй – да. Но именно к вам? Нет, сделать это я не в силах. Однако довольно и того, что мои капли возбудят в ней такую страсть, такое желание страсти, что никто не убережет ее и сама она побороть себя не будет в силах, а так как, кроме вас, никого она более подходящего возле себя не увидит, то она и рада будет кинуться вам на шею.

– Вот оно что! – протянул Карл. – Но это ужасно!.. Ведь это все равно, что украсть ее сердце.

– Но зато это верно, – спокойно проговорил Торичиоли.

Карл задумался.

– Да, ужасное, но верное средство – это правда, – сказал он наконец, произнося вслух то, что было у него на уме, и заходил по комнате. – Но если я составлю ее счастье, – заговорил он опять, – то сделаю все, чтобы она видела в жизни одну только радость… Синьор Джузеппе, я говорю вам, что она не раскается в потере этого безродного найденыша… Я люблю ее…

– Тем лучше, – подтвердил Джузеппе, вполне понимая эгоистическую самоуверенность барона: все влюбленные на один лад, и все они думают, что рай только в их шалаше.

– И у вас есть готовым этот эликсир?

Торичиоли поморщился. В душе его, видно было, промелькнуло что-то неприятное, словно тяжелое воспоминание, какой-то призрак прошлого, которому он не хотел позволить возродиться.

– Нет, – ответил он, – у меня нет готовых капель, их нужно сделать… а главное, вспомнить пропорцию, снова вычислить ее… Сегодня которое число?

– Девятое июня, кажется.

– Странно! – как бы говоря сам с собою, произнес итальянец, поводя плечами, – ровно девятнадцать лет тому назад я в последний раз должен был применить свое искусство… Много времени прошло с тех пор…

Но Карл был занят своими соображениями, и воспоминания синьора Джузеппе не интересовали его.

– А много времени вам понадобится, чтобы составить капли? – спросил он.

– Если найду все необходимые материалы, то недели две, самое большее – три…

– Долгий срок! – сказал Эйзенбах.

– Какой вы нетерпеливый!

– Тут дело не в нетерпении, а в том, что рассерженному князю вдруг может прийти фантазия завтра велеть мне приготовить лошадей. Теперь я вижу его характер.

– Скажитесь больным, лягте в постель; я буду делать вид, что лечу вас. И вы только выиграете в глазах князя тем, что так потрясены, что даже заболели.

– Синьор Торичиоли, вы – умный человек! – проговорил Карл улыбаясь.

– Господин барон, вы очень любезны! – в тон ему ответил итальянец.

– Значит, по рукам?

На лице Джузеппе еще раз явилась его особенная улыбка. Он улыбался всегда одними губами, глаза у него оставались серьезны, как это бывает у людей или очень несчастных, или таких, на совести которых лежит какой-нибудь упрек за прошлую жизнь.

– Нет, господин барон, не совсем еще по рукам, – остановил Торичиоли Карла, когда тот для заключения условия протянул ему руку.

– В чем же дело? – удивился Эйзенбах.

– Да в том, что вознаграждение, которое вы мне предлагаете, слишком мало.

– Слишком мало? Вам мало пятидесяти тысяч?

– Вот видите ли, – с расстановкой проговорил итальянец, – я рискую уж слишком многим.

– На мой взгляд – решительно ничем. Никто не может узнать. И в моих, и в ваших интересах хранить тайну, а никому, кроме нас, она не известна.

– Да, но… вот тут что: я должен нарушить одно обещание… больше обещания – клятву… данную мною ровно девятнадцать лет тому назад…

– Ну, это, значит, – эпизод из древней истории; можно легко забыть то, что было девятнадцать лет тому назад.

– Согласитесь, однако, барон, что из-за пятидесяти только тысяч нарушить клятву…

– Синьор Торичиоли, вы, разумеется, рассказываете мне сказки про ваши клятвы.

– Которым вы можете верить или нет, – подхватил итальянец. – Но ведь вы должны получить за княжною около миллиона; неужели вам жалко увеличить мою долю?

– Этот аргумент более рационален, – сказал, подумав, Карл. – Но капли уже будут поднесены вами, я ни во что не вмешиваюсь… Сколько приемов вы должны дать?

– О, достаточно одного – в пять или шесть капель!

– Вот дорогой напиток!.. – улыбнулся Карл. – По двадцати тысяч капля!.. Что же вам угодно? Заемное письмо?

– Простую записку, которую вы подпишете.

И условие было заключено.

XIII. «Каждому свое»

Прошло три дня. Старый князь сидел, запершись у себя в кабинете, и никого не пускал к себе, кроме камердинера. Он вовсе не ложился, проводя все время у окна, не спал и ничего не ел.

Странная сцена, происшедшая в комнате Ольги, когда старый князь явился туда после разговора с бароном, так подействовала на молодую девушку, что она слегла.

Отец ни разу не спросил о ней. Он беспокоился только о себе и о новом ударе, которым поразила его судьба.

И этот удар был чувствительнее всех прежних для себялюбивого князя. Князь Проскуров, весь век гордившийся своим титулом, потому что, кроме этого, ему нечем было гордиться, князь Проскуров, высокомерно отвергший предложение князя Голицына и других завидных женихов, должен был сознать, что найденыш завладел сердцем его дочери. Это поистине казалось ужасным.

Но Ольга не была виновата в том, что полюбила Артемия. Чувству не прикажешь, и, когда ее любовь перестала быть тайной, когда рассерженный отец грозил ей монастырем, упрекал в неблагодарности и клялся сжить со света негодного мальчишку, она твердо вынесла всю сцену, но затем не выдержала. Здоровье ее всегда было плохим. Слабенькая, рожденная от болезненной матери, проведшая свое детство в вечном страхе пред отцом – она выросла нервным, впечатлительным ребенком. Ей случалось жаловаться на грудь: она не могла, не задыхаясь, двигаться скоро… Пока отец берег ее, она чувствовала себя хорошо, но достаточно было первого же сильного нравственного потрясения, чтобы ее некрепкие силы надломились.

Артемий сидел, по приказанию князя, в своей комнате, под ключом, безвыходно. Участь его была решена: его отправляли в действующую армию солдатом.

Один Торичиоли еще надеялся, что все уладится, лишь бы поскорее услали Артемия. Перспектива ста тысяч придала ему бодрости, и он не хотел допустить и в мыслях, что это опьянившее его уже заранее богатство ускользнет от него, а потому горячо взялся за свое дело. Он вытащил запыленные книги, к которым давно не прикасался, сделал выкладки, отыскал на дне своего сундука коробку с засохшими корешками и к удовольствию своему убедился, что все, нужное ему, было налицо. Оставалось набрать розовых лепестков для эссенции.

Мнимобольной Карл лежал у себя во флигеле, скучая своим положением и отчасти уже раскаиваясь, что представился больным, – так, казалось ему, несносно проводить весь день у себя в неволе. Он спрашивал у Торичиоли, нельзя ли ему выздороветь, говорил, что ему скучно, но тот принес ему из библиотеки груду книг для развлечения и сказал, что выздоравливать рано, потому что самое лучшее сделать это днем позже того, как старый князь, отсидевшись у себя в кабинете, выйдет оттуда, тем более что к тому времени и Артемия, по всей вероятности, уже ушлют. Карл проклял в несчетный уже раз Артемия и остался лежать.

Он попробовал утешить себя книгами; он их вообще недолюбливал, но ему попался под руку один из безнравственных романов, довольно многочисленных в литературе XVIII века, и он стал читать его не без интереса. В этом случае он делал только то, что делало почти все общество его времени.

Роман подходил к развязке, и Карла очень занимало, женится в конце концов герой или нет, как вдруг, на самом интересном месте, раздались в комнате, соседней с его спальней, быстрые шаги и, распахнув широко дверь, вбежал растерянный и сам на себя не похожий Торичиоли. Он был без шляпы, парик сбился слегка у него набок, дрожащими руками он силился расстегнуть камзол на груди.

– Что такое, что с вами? – проговорил барон, приподымаясь на постели.

Итальянец махнул рукой и в изнеможении не опустился, а просто упал на попавшийся ему стул, причем испуганными, широко открытыми глазами уставился на Карла. Он тяжело дышал, точно ему пришлось пробежать целую версту.

– Это невероятно, непостижимо, это выше моего понимания, но между тем я видел его… я видел собственными глазами, – запинаясь произнес он.

Карл испугался: Торичиоли, казалось, сошел с ума.

– Да ведь как видел, вот не дальше пяти шагов! – продолжал, все еще едва переводя дух, итальянец. – Мне нужны были розаны… я рвал их и вдруг вижу – он идет по дорожке… Да, да, это был он, я не мог не узнать его!.. В девятнадцать лет его лицо нисколько не изменилось, как будто время совершенно не оставило на нем следов… И как раз теперь, когда я чуть было не нарушил…

– Да кого вы видели? – возвышая голос, перебил Карл, которому невольно передавался ужас Торичиоли, видимо, потерявшего голову.

– Да, я видел… Вот, возьмите назад; я – не слуга вам… Нет, не надо… Возьмите вашу записку, рвите ее… я ни за что, ни за какие деньги… Ах, барон, барон!..

И, говоря это, итальянец расстегнул свой камзол, достал висевший на груди у него полотняный мешочек, а затем, выхватив из него расписку Карла, бросил ее ему.

– Что с вами, кого вы видели, наконец? Дьявола, что ли? – рассердился барон.

– Не знаю… может быть… может быть… но только это почти сверхъестественно… Я наклонился над кустом, подымаю голову… и вижу…

Торичиоли не договорил. Он замер почти на полуслове, остановив глаза на окне.

Эйзенбах взглянул за ним туда же. Сквозь частую сетку оконной рамы виднелся цветник, между подстриженными деревьями, по дорожке, на которой Карл в памятный ему вечер видел Ольгу, шел теперь к большому дому человек небольшого роста, коренастый, мускулистый, бодрою и твердою походкой. Он шел уверенно, просто, вполне владея тем, что называют «видной осанкой». Одет он был скромно, но его коричневый кафтан прекрасно сидел на нем, ноги, обутые в башмаки дешевой кожи, казались невелики (признак породы), а широкополая шляпа красиво оттеняла его выразительное, несколько смуглое лицо. Парика он не носил, и черные волосы его темнели издали.

– Кто же это? – спросил опять Карл.

Но Торичиоли не слыхал этого вопроса и снова не ответил. Эйзенбах стал настаивать дольше.

Мало-помалу, медленно Торичиоли пришел в себя. Он выпил воды, отер платком бледный свой лоб, глубоко вздохнул и заговорил:

– Если бы за минуту пред тем мне сказали, клянусь всеми святыми… голову свою заложить… я не поверил бы, что это могло случиться… Откуда ему попасть сюда?

Эйзенбах повернулся на кровати и сказал, видя, что теперь наконец можно говорить с итальянцем:

– Ну, постойте! Чего же вы так испугались? Что случилось особенного в том, что вы увидели этого господина? Воскрес он, что ли? Были вы уверены, что он умер?

– Нет.

– Ну, так что ж тогда? Это – ваш соотечественник, как его зовут?

– Comte Soltikoff.

– «Comte Soltikoff», – повторил Карл, пожав плечами. – Это русская фамилия: «граф Солтыков». По всей вероятности, проезжий или, может быть, новый сосед здешний, подъехал к княжескому парку и вышел погулять… Вы давно знакомы с ним?

– Да… да, – все еще рассеянно повторял Торичиоли, – да, тут нет ничего особенного, все это, может быть, очень просто… Soltikoff – русская фамилия… но девятнадцать лет тому назад в Генуе, и теперь вдруг здесь… Нет, это очень странно!..

– Значит, это – ваш давнишний знакомый? Вы пойдете к нему?

– Per Bacco[1], барон! Я останусь лучше с вами, – ответил Торичиоли, испуганно взглянув Карлу в лицо, и опустил на окнах, якобы от солнца, шторы.

[1] Клянусь Бахусом! *(ит.).*

XIV. Новый гость

Только что Торичиоли успокоился немного, выразив намерение остаться в комнате барона, как появился лакей. Итальянец с новым испугом взглянул на него.

– Там вас спрашивает дворецкий, – доложил лакей, обращаясь к Торичиоли.

«Так и есть!» – подумал итальянец.

Но делать было нечего, и он вышел к дворецкому.

Дворецкий Иван Пахомович, угождавший князю с самого поселения его в деревне и очень гордившийся этим, был человеком весьма обстоятельным, спокойным и не лишенным своего рода такта.

– Иосиф Александрович, – начал он, когда к нему вышел Торичиоли, – там иностранный господин пришел и просит доложить о нем князю. А ведь вы сами изволите знать, какие обстоятельства теперь, – к князю подойти невозможно… Я на себя не мог взять решение…

Дворецкий говорил с тою полупочтительною фамильярностью, с которою имеет обыкновение обращаться высокопоставленная прислуга не к господам, но к людям, стоящим близко к последним.

Торичиоли, давно привыкший к этой фамильярности, не обратил на нее внимания, тем более теперь, когда мысли его были всецело заняты совершенно другим.

– Надобно вам сказать, Иосиф Александрович, – продолжал Иван Пахомович, разводя руками, – этот господин явился-с через сад, довольно странно…

– Положим, тут может и не быть ничего странного, – сказал Торичиоли, невольно повторяя то, что только что говорил ему Карл. – Этот господин – вероятно, или приезжий, или новый сосед князя – гулял… зашел в сад… – Но тут Торичиоли замялся, потому что из показавшегося сначала правдоподобным соображения барона теперь как-то не выходило ничего убедительного. Наконец он спросил: – А он сказал свою фамилию? Фамилия его русская?

– Нет, иностранная.

– Иностранная?

– Он говорит, что он – доктор.

– Доктор? Как же он назвал себя?

– Доктор Шенинг.

Торичиоли вздохнул свободнее. Он понял, что человек, которого он знал в Генуе под именем графа Soltikoff, не желает, чтобы его узнавали здесь, и, подумав: «Тем лучше» спросил дворецкого:

– Вы сказали ему, что князя нельзя видеть?

– Да, но он просит остаться в доме. Я ему говорю, что без князя нельзя, а он говорит: «Так доложите князю!» – и Иван Пахомович снова развел руками. – Я уже и не знаю, как быть, Иосиф Александрович? – добавил он. – Как угодно, а вы выйдите, поговорите с ним; я на себя одного не могу взять это дело.

Торичиоли остановился в нерешимости. Он чувствовал, что должен идти, что скрыться все равно некуда и что трудно будет выпроводить внезапного гостя, если тот захочет остаться. Под влиянием этого соображения он быстро взвесил все обстоятельства «за» и «против». Строго говоря, бояться ему было нечего. Человек, явившийся под именем доктора Шенинга, не желает быть узнанным; условие, заключенное с Карлом, нарушено. В продолжение девятнадцати последних лет своей жизни он, Торичиоли, не может упрекнуть себя ни в чем. Ввиду всего этого он решился:

– Я сейчас! – сказал он и вернулся в комнату Эйзенбаха.

Карл лежал по-прежнему на кровати и ждал возвращения итальянца, уставившись на дверь нетерпеливым взором. Любопытство его было задето.

Торичиоли только высунулся в дверь и быстрым шепотом проговорил:

– Так помните, барон, что я – не слуга вам больше, что между нами нет никакого условия и что я вернул вам вашу записку.

Вслед затем, не дождавшись ответа, он снова исчез.

Доктор Шенинг ждал в больших парадных сенях, когда вернется дворецкий, сказавший ему, что пойдет посоветоваться относительно его просьбы. Он спокойно стоял у окна, и вся его фигура обличала столько уверенности в правильности его поступков, что становилось понятно, почему Иван Пахомович не отказал ему сразу, а нашел удобным посоветоваться с итальянцем о том, как ему поступить.

Торичиоли вышел с крыльца в сени. Доктор обернулся к нему, и глаза их встретились. Но ни один мускул неподвижного лица доктора не тронулся, он бровью не шевельнул, и его остановленный на итальянце взгляд не выражал ничего, кроме ожидания. Казалось, он не только не узнал Торичиоли, но просто никогда не видел до сих пор и не подозревал, откуда явилось смущение этого итальянца и что значит его растерянный, тревожный вид.

«А может быть, это – просто сходство, может быть, память обманывает меня?.. – радостно подумал Торичиоли. – И в самом деле человек не может сохраниться так в продолжение девятнадцати лет… Да, конечно…»

И он смелее поглядел на доктора.

– Я имею удовольствие говорить с управляющим князя? – спросил тот на ломанном русском языке.

«Голос как будто тот», – снова мелькнуло у итальянца в голове, но он тотчас же ответил по-немецки:

– Нет, я живу у князя не в качестве управляющего. Но что вам угодно?

– Я прошу гостеприимства в этом богатом доме. Мне сказали, что это – дом князя Проскурова; я прошу гостеприимства у князя.

– Но его сиятельство никого не может принять теперь… его нельзя беспокоить…

– Я и не желаю беспокоить князя, но прошу лишь, чтобы мне было позволено отдохнуть.

– Это невозможно!

– Разве обычное в России радушие чуждо дому князя? – спросил доктор, улыбнувшись.

Иван Пахомович стоял важно и серьезно, переводя взоры с доктора на итальянца, как будто стараясь узнать смысл непонятного разговора на чуждом ему языке. Он видел, что доктор сообщил итальянцу что-то такое, отчего тот замялся.

– Иван! – вдруг раздался голос старого князя. – Кто это такой и что ему нужно?

Князь Андрей Николаевич стоял на верхней ступеньке спускавшейся в сени внутренней лестницы. Он в первый раз после случившегося три дня тому назад шел гулять в сад.

XV. Доктор Шенинг

Вероятно, это было следствием трех бессонных ночей и нервного утомления князя Андрея Николаевича, но с ним случилось нечто очень-очень странное.

Когда он, намереваясь пойти гулять, вышел на лестницу и наткнулся в сенях на иностранного доктора, просящего гостеприимства, он, должно быть, заговорил с ним и пригласил идти за собою, потому что полное и ясное сознание окружающего вернулось к нему только в саду, когда он шел по дорожке, по которой имел обыкновение ходить. Рядом с ним шел доктор Шенинг. Они разговаривали.

Как это случилось, что вот они очутились вместе, в саду, разговаривая, – старый князь отчетливо не помнил, хотя и понимал, что особенно удивительного тут ничего не было: он вышел сегодня в первый раз из кабинета, утомленный физически и нравственно. Весьма естественно, в первую минуту он мог почувствовать некоторую слабость, затмение и не помнил, что и как говорил. Потом свежий воздух отрезвил его и он пришел в себя.

Как бы то ни было, но доктор был рядом с ним и держался так уверенно и просто, как будто так и следовало тому быть.

Князь поверил его убежденному виду и подумал только про себя: «Гм… плохо дело, видимо, старость приходит, если ж я забывать стал».

Разговор у них шел по-немецки…

– Прекрасно у вас здесь! – хвалил доктор князю его сад и цветник.

Это, видимо, доставляло большое удовольствие Андрею Николаевичу, который был в сущности очень рад поговорить теперь с лицом, совершенно посторонним. Доктор, случайно заброшенный в Проскурово и, конечно, совершенно чуждый всему, что здесь произошло три дня тому назад, являлся вполне таким лицом. Кроме того, бывают люди, в обществе которых чувствуешь себя лучше, сильнее и крепче, словно они электризуют вас исходящими от них симпатическими токами. И доктор Шенинг был именно таким человеком, и в его обществе Проскуров чувствовал себя лучше.

Он, стараясь отвлечь свои мысли от надвинувшегося на него и заполнившего его беспокойства, показывал доктору цветник и высказывал предположения о том, как он разобьет клумбы в будущем году и как это будет еще красивее, чем теперь.

– Да, – согласился доктор, – при желании, разумеется, все можно сделать, хотя ваши клумбы так хороши теперь, что едва ли мыслимо распланировать их еще лучше.

Князь приостановился и взглянул на доктора из-под своих седых нависших бровей.

Когда человек поглощен чем-нибудь, ему кажется, что разговор затрагивает именно его больное место; так и теперь князь видел, что, несмотря на его старание говорить о совсем посторонних его горю вещах, все-таки сейчас же дело зашло о «неисполнимости желаний», то есть о том, что составляло самое суть его несчастья.

– Да, но вот говорят, что если сильно желаешь чего-нибудь, то оно непременно сбудется, – ответил Андрей Николаевич (говорил уже не о цветнике, а о том, о чем мучительно думал в продолжение трех последних дней).

Доктор, в свою очередь, пристально поглядел на него и, улыбнувшись, произнес:

– Дело в том, что нужно уметь желать, нужно знать, каким путем направить волю свою, и тогда это замечательное наблюдение опыта явится непреложною истиной, в противном случае произойдет совершенно обратное, и человек вечно будет встречать все, идущее вразрез его желаниям, и никогда они не удовлетворятся. Муки Тантала – не простой, бессмысленный миф, не сказка, придуманная для забавы детей. Нет, это, может быть, – одна из аллегорий важнейшего откровения… Человек, не способный управлять своей волей, обречен на то, что вода будет сама, как у Тантала, убегать от его горячих, жаждущих, воспаленных губ.

Волнение снова охватило князя, но он с радостью ощутил, что это не было волнение гнева.

– Уметь желать, уметь желать! – повторил он. – Но хорошо сказать это, а как выполнить? Как научиться этому?

– Жизнь научит.

– Ну, а если есть люди, которые в продолжение всей жизни не могли научиться этому?

– Значит, в их жизни не было ничего такого, чего бы им следовало желать по-настоящему, значит, судьба сделала все, чтобы они были счастливы, и желания их были излишни, не нужны… себялюбивы…

Это последнее слово Шенинга, как каленым железом, обожгло Андрея Николаевича, но, к его удивлению, этот ожог имел целебное, успокаивающее свойство.

– А разве могут быть желания несебялюбивые? – спросил он…

– Не только могут, но они должны быть, – ответил доктор.

Князь задумался.

«Да, – словно заговорил в нем какой-то внутренний, вдруг только что пробудившийся голос, – неожиданность изменит твои расчеты, и судьба разрушит твои планы, если не положить конец страстям, конец себялюбию… Ты веришь в свою силу, а глядишь – камешек, попавшийся на твоей дороге, сильнее тебя… И так во всем».

И этот тайный голос был результатом всей жизни князя. Он это почувствовал теперь.

Они продолжали идти молча, обходя во второй уже раз большой цветник. Флигель, где жил Карл, был направо от них. Они подошли к флигелю. Князь вспомнил про Эйзенбаха, а также сообщение слуг о том, что молодой человек болен.

– У меня тут больной, – сказал он, указывая на флигель и, видимо, желая дать понять доктору, что хочет его оставить на некоторое время, чтобы зайти к больному.

– Может быть, я могу быть полезен? – спросил Шенинг.

Князь недоверчиво взглянул на него и наконец решился спросить:

– Так вы… вы действительно – доктор?

Шенинг опять улыбнулся той уверенною улыбкой, которая удивительно шла его непоколебимому спокойствию и выдержанной, полной достоинства, манере держать себя.

– С какой же стати я говорил бы вам неправду? – ответил он и назвал известную немецкую академию, давшую ему ученую степень.

Имя академии окончательно убедило князя.

– В таком случае зайдемте вместе, – пригласил он.

XVI. Мнимобольной

Карл со своей постели мнимобольного видел через окно, как против его флигеля остановился старый князь вместе со странным гостем, появление которого так напугало Торичиоли, что тот вернул ему его расписку и вдруг отказался от задуманного плана. Карл видел также, как они поговорили с князем и потом вместе повернули во флигель.

«Зачем он ведет его ко мне?» – удивился барон.

В первую минуту он решил было поскорее одеться, чтобы выйти к князю, но сейчас же передумал, потому что лучше было бы, если Андрей Николаевич воочию убедится, что он действительно болен и лежит. И Карл постарался придать лицу как можно больше уныния и грусти, полузакрыл глаза, натянул на себя одеяло и в знак своей слабости склонил голову на сторону.

Едва успел он принять соответствующую позу, как дверь отворилась и вошел старый князь.

– Лежите? – проговорил он. – Мне сказали, что вы больны, значит, серьезно больны?

Андрей Николаевич опять говорил Карлу «вы».

«Плохой знак!» – подумал тот.

Князь вошел очень храбро, но войдя, уже заметно сожалел, что пришел сюда, потому что, собственно, не имел ничего сказать Карлу. Однако он понимал, что встреча их все же необходима, и пошел к барону.

– Благодарю вас, князь, – слабым голосом ответил тот, – мне Торичиоли давал лекарство, он находит, что это пройдет.

Карл говорил одно, а думал совершенно другое: он думал о том, какую имеют связь этот граф, как его назвал итальянец, Солтыков, и старый князь, разгуливающий с ним по саду, и сам, наконец, Торичиоли. Карл находился еще под впечатлением появления и ухода перебедовавшегося итальянца.

– Итальянец – не доктор, – ответил князь. – Не послать ли за настоящим?

– О, нет, не надо! – поспешно перебил барон.

– Отчего же? А то вот проезжий есть… говорит, он – тоже доктор, пусть посмотрит.

И князь вернулся к двери и впустил в комнату Шенинга. Он распоряжался, как хозяин, потому что привык считать хозяином в Проскурове только себя.

Удивление Карла росло. Тот, кого князь называл «доктором» и впустил сейчас, был только что итальянцем показан ему, Карлу, под именем графа Солтыкова.

«Что за чепуха?» – недоумевал барон.

Но Шенинг, или тот, кого называли так, быстро приблизился к его постели, окинул его сосредоточенным, внимательным взглядом и посмотрел прямо в самые глаза его. Барон невольно опустил веки. Казалось, ему заглянули в самую душу и поняли все его помыслы.

– Цвет лица – прекрасный, – сказал Шенинг, затем попробовал голову Карла, тронул его руку.

Эйзенбах так растерялся от того тона, которым доктор сказал, что у него прекрасный цвет лица, что не успел опомниться и высказать сопротивление осмотру…

– Да он здоров, – проговорил вдруг Шенинг.

– Как здоров? – переспросил князь.

– Совершенно здоров, могу вас уверить. Даже излишней мнительности нет, это – простое притворство, и только.

Карл вскочил на постели. Резкие слова доктора взорвали его.

– Что ж, я лгу, что ли? – почти крикнул он. Куда девались его слабость, его бессильный голос!

Кровь прихлынула к его щекам, и по всей его энергичной фигуре всякий теперь сразу мог убедиться, что он действительно совсем здоров.

Доктор молча обернулся к князю, как бы приглашая его оценить эту метаморфозу в больном.

– Но с чего ж бы ему притворяться? – проговорил князь.

– Я не знаю, – ответил Шенинг, пожав плечами, – я не знаю даже, кто этот молодой человек, но не могу не сказать того, что вижу. Поищите: вероятно, есть причина, зачем ему нужно притворяться.

– Я барон Карл фон Эйзенбах, – бешено, не помня себя, продолжал Карл, – меня, слава богу, знают… и я не позволю какому-то проходимцу, назвавшемуся чужим именем, оскорблять меня… Вы – не больше, как проходимец, неизвестно откуда взявшийся… Слышите, и убирайтесь вон отсюда!

Князь едва сдерживал себя, чувствуя уже приступ своего гневного припадка и стеснения в груди. Он уже не сомневался, что болезнь Карла была мнимой, и даже смутно понимал, зачем барон разыгрывал комедию. Если это было (как пришло в голову Андрею Николаевичу) для того, чтобы разжалобить Ольгу, то он мог, пожалуй, допустить это, но чтобы в его присутствии молодой человек, почти мальчишка, забылся до того, что осмелился оскорблять человека, этого он не мог допустить.

– Извольте, государь мой, замолчать! – резко проговорил он.

Карл слегка опомнился.

Шенинг оставался по-прежнему невозмутим и спокоен.

– Вы напрасно оскорбляете меня, – тихо проговорил он, – вы не знаете сами, что делаете, и змея укусит не меня, а вас.

Это невозмутимое спокойствие Шенинга и тихий, но отчетливый голос подействовали на барона, как масло на огонь. Он затрясся от злости. С первого же взгляда этот таинственный доктор стал антипатичен ему.

– Вы меня извините, князь, – обратился он к Андрею Николаевичу, – но если я, по мнению этого господина, – мнимый больной, то могу засвидетельствовать, что он – мнимый доктор, да… Торичиоли показал мне его в окно, когда он проходил по саду, и назвал графом Солтыковым, которого он знал девятнадцать лет тому назад в Генуе.

Ни одна черта не двинулась в лице доктора. Он остался, как и был, и лишь в глазах у него промелькнула искра, когда Карл назвал его «Солтыковым». Эту искру не могли заметить ни Карл, ни старый князь. Доктор стоял, опершись рукою на спинку кровати Карла, и глядел поверх его головы, как будто то, что говорил барон, вовсе не касалось его.

– Меня могли назвать, как угодно, но это еще ничего не доказывает, – опять пожал он плечами.

Андрей Николаевич поднялся со своего места.

– Милости прошу, – обратился он к Шенингу и, не сказав ни слова Карлу и даже не взглянув на него, вышел из комнаты вместе с доктором.

Эйзенбах схватился за голову. Так хорошо начатое им дело кончилось таким постыдным посрамлением.

«А все этот Торичиоли! – подумал он. – И нужно мне было связываться с ним!.. Да и я не выдержал… Глупо… Теперь все кончено…»

И вдруг, к ужасу своему, Карл заметил, что записка, которую ему бросил, убежав, Торичиоли и которую он забыл спрятать, лежала на столике у самой кровати, повернутая кверху надписанной стороной. С того места, где сидел князь, прочесть текст, казалось, было немыслимо, – это Карл сейчас же сообразил и успокоился. Но этот доктор… мог ли он видеть?

Эйзенбах быстро спустил ноги, вдел их в туфли и, подойдя к спинке кровати, оперся на нее рукою совершенно так же, как это делал доктор. Только что он встал на место, как ему прямо бросилось в глаза то, что было написано на этом несчастном клочке бумаги:

«Обязуюсь внести синьору Джузеппе Торичиоли сто тысяч рублей, если княжна Ольга Андреевна Проскурова станет баронессой фон Эйзенбах».

И Карл с отчаянием вспомнил, как он кричал, что он – сам барон фон Эйзенбах, этому доктору, который в ту самую минуту, может быть, читал эту записку.

Не теряя дольше времени, барон схватил со стола трут и огниво, высек огонь, раздул, приложил серничку, зажег свечу и, скомкав бумагу, поднес ее к пламени. Бумага, корчась и чернея, вспыхнула синим пламенем и медленно превратилась в пепел.

«Ну, теперь пусть доказывает!» – успокоился Эйзенбах.

Выйдя от Карла вместе с доктором, князь Андрей Николаевич пошел в большой дом с таким видом, как бы предлагая Шенингу следовать за собою.

«Призвать итальянца и свести их с доктором, – сделал он в уме как бы выкладку, – если бароновы слова – правда, то выгнать».

«А может, барон и врет!» – пришло ему также в голову.

Придя наверх, он попросил Шенинга подождать в приемной, а сам прошел в кабинет и велел позвать к себе Торичиоли.

Обстановка кабинета, в которую вернулся Проскуров и которая особенно в последние три дня опротивела ему, не произвела на него удручающего впечатления. А этого он боялся. Напротив, прогулка, видимо, принесла князю пользу: он чувствовал себя бодрее.

Торичиоли явился приниженным и смущенным. Чтобы попасть в кабинет князя, ему нужно было пройти через приемную, где находился доктор.

– Вы видали когда-нибудь этого доктора? – спросил князь.

Итальянец заморгал глазами и, делая всевозможные отрицательные жесты и головою, и руками, поспешно ответил:

– Никогда я раньше не видал доктора, никогда.

– А барон Эйзенбах говорит, что вы указывали на него, как на вашего знакомого в Генуе… и там он будто бы носил другую фамилию.

Итальянец задергался сильнее и, продолжая убедительно размахивать руками, заговорил:

– Ах, нет, господин князь, я не говорил этого; я только сказал, что знал девятнадцать лет тому назад – действительно в Генуе – человека, похожего на доктора Шенинга; но это был не он.

– Вы уверены в этом?

– О, да!.. Тем более что тот господин был приблизительно на вид тех же лет, как теперь и доктор…

– Ну, хорошо! Так подите проведите доктора в одну из комнат, предназначенных для гостей! – Андрей Николаевич приостановился немного и затем вдруг скороговоркой добавил: – А потом велите завтра утром приготовить лошадей для молодого барона. Он завтра едет.

Вслед за тем движением бровей князь показал итальянцу, что тот может идти и что возразить ему нечего.

Торичиоли вышел в приемную и, согнувшись и извиваясь, стал просить «господина доктора» следовать за ним. Но тот, прежде чем сделать это, вынул из карманного портфеля сложенную вчетверо бумагу и сказал, подавая ее итальянцу:

– На всякий случай будьте добры показать это князю.

Проводив доктора до избранной для него комнаты и оставшись один, Торичиоли немедленно развернул данную ему для князя бумагу. Это оказалась засвидетельствованная русскими властями копия и перевод с диплома академии, выданная на имя доктора Шенинга.

XVII. Две девушки

Больная Оля сидела у себя в комнате. Она сильно переменилась: бледные щеки ее ввалились, глаза неподвижно останавливались на первой попавшейся точке. Она не могла плакать, хотя слезы принесли бы ей утешение.

В первый раз третьего дня отец напомнил себя ей таким, каков он был во времена ее детства, когда она жила в вечном страхе и за себя, и за мать.

Смерть почти замученной на ее глазах матери стояла теперь пред девушкой во всех мельчайших подробностях своего леденящего кровь ужаса. Неужели и ей суждено так же умереть? Неужели она должна будет проститься с этой милою для нее до сих пор жизнью, и со своим дорогим, радостным чувством любви? Ей запрещали любить – значит, не хотели, чтоб она жила, потому что она не могла жить и не любить.

Она полюбила человека, которого знала с детства, который сам любил ее, и они были так счастливы, так чисто, безгранично счастливы до сих пор. Они не думали и никогда не говорили между собою о будущем, никогда не строили планов: настоящее казалось им так прекрасно, что нечего было уходить от него даже в мыслях. И вдруг все это оборвалось так грубо, неумолимо, бесповоротно! Оля чувствовала и понимала, что выхода из ее положения нет, что нечего и думать о благоприятном исходе.

Через свою горничную Дуняшу она уже знала о том, что Артемия отправляют. Она знала нрав отца и не сомневалась, что его решения нельзя изменить.

Но и в себе, в своем самочувствии, она не могла тоже ошибиться. В ней во время гневного припадка отца словно оборвалось что-то, и, помимо нравственного страдания, она заболела физически, силы ее упали. Она была очень плоха.

Дуняша, принимавшая горячее участие в своей госпоже и служившая ей с безграничной преданностью, ухаживала за Олей, не спала ночи и, казалось, умереть была готова для нее.

Оля, несмотря на свою слабость, не лежала в постели, но проводила дни в кресле, беспомощно облокотясь на его спинку и инстинктивно, часто и подолгу останавливая свои широко открытые глаза на окне, выходившем в сад. Она ждала, что Артемий, может быть, пройдет мимо, что, может быть, ей удастся если не перекинуться с ним несколькими словами, то хоть увидеть его. Потом ей сказали, что Артемия заперли; но она уже по привычке все продолжала смотреть в окно.

Дуняша понимала этот упорный, молчаливый, но тем не менее красноречивый взгляд своей княжны, и в тот день, когда старый князь, «отсидевшись», как называли в доме, вышел наконец из своего кабинета, она, принеся в комнату Ольги обед, остановилась в отдалении, ожидая пока княжна заговорит с нею.

– Нет, не хочу, – проговорила Ольга, слабым движением руки отстраняя от себя поднос. – Что ты, Дуняша?

– Да что, барышня! Сердце надрывается, на вас глядючи… Бедная ты моя!.. – и в голосе беззаботной в дни веселья черноглазой Дуняши, первой затейницы в хороводах и играх, сводившей с ума первостатейных кавалеров дворни, слышались теперь неподдельные слезы. – Барыня милая!.. Вот что я придумала!.. Завтра попроситесь на балкон, вниз, посидеть, будто воздухом подышать, а я тем временем раздобуду ключ от комнаты Артемия Андреевича; когда после обеда все успокоится, Артемий Андреевич и может спуститься в сад… Поняли?..

Тень улыбки мелькнула на бледных губах Ольги. Эта заботливость расторопной Дуняши, эта внимательность, выразившаяся в понимании того, что было нужно Ольге, – приласкали ее, а ей так нужна была ласка в эти тяжелые дни.

– Как же ты достанешь ключ? – спросила она.

– Уж это – мое дело. Он у Ивана Пахомовича; ему князь приказали соблюдать Артемия-то Андреевича, и так настрого, что ни-ни-ни… Ну, а Иван Пахомович вчера Сергея посылал вместо себя обед относить Артемию Андреевичу, потому что мы все его на смех подняли, – я нарочно это завела, – что, мол, на старости лет из дворецких в острожные сторожа попал, вроде то есть тюремщика. Ивану Пахомовичу это обидно показалось. Ну, вот он и препоручил Сергею. Если завтра то же сделает, так Сергей, уходя, двери-то не запрет… Я ему уже говорила об этом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.